



В. М. ЖИВОВ

**ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО
ЯЗЫКА**

**XVII—XVIII
ВЕКОВ**



STUDIA PHILOGICA

В. М. ЖИВОВ

ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО
ЯЗЫКА

XVII—XVIII
ВЕКОВ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2004

ББК 63.3(2)4
Ж 67

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 04-04-16073

Рецензенты:
доктор филологических наук Е. А. Земская
доктор филологических наук В. А. Плунгян

Живов В. М.

Ж 67 Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII веков / Рос. академия наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 656 с. – (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-9551-0008-3

В монографии исследуются проблемы исторической морфологии на материале русских письменных источников XVII—XVIII вв. Анализируется ряд явлений именного и глагольного словоизменения в их динамике. Особое внимание уделено различиям в узусе, характеризующем разные традиции (регистры) письменного языка. Анализ статистических параметров позволяет проследить преемственность в эволюции регистров и увидеть специфику процессов, сопровождающих формирование языкового стандарта (литературного языка). Морфологические процессы в образовании языкового стандарта также рассматриваются в деталях, включающих и историю их кодификации, и их динамику в языковой практике, и историко-культурные стимулы этого развития.

Книга представляет интерес для историков русского языка и историков русской культуры, а также для специалистов в области общего языкознания и типологии языков.

ББК 63.3(2)4

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshchelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-9551-0008-3



© В. М. Живов, 2004
© Языки славянской культуры, 2004

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	9
1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности.....	9
2. Морфологическая нормализация в процессе формирования русского литературного языка нового типа.....	21
3. Задачи, материал и план исследования.....	28
Глава I. Некоторые теоретические выкладки и полемические заметки.....	37
1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси.....	37
2. Норма и вариативность в письменном языке. Значение синтаксических параметров.....	44
3. Преемственность и лингвистические характеристики книжного и некнижного языков.....	54
4. Формирование регистров письменного языка.....	63
5. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип двойственного числа.....	77
6. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип простых претеритов.....	92
7. Формирование нового литературного языка как процесс европеизации.....	103
8. Место реинтерпретации морфологических вариантов в формировании нового литературного языка.....	116
Глава II. Формы инфинитива и 2 лица ед. числа презенса.....	131
1. Формы инфинитива в языковой практике XVII века.....	131
1.1. Формы инфинитива в книжных текстах XVII века.....	137
1.2. Формы инфинитива в некнижных текстах XVII века.....	159
2. Формы инфинитива в языковой практике Петровской эпохи.....	184
3. Формы инфинитива в языковой практике послепетровской эпохи (светская литература).....	198
4. Осмысление форм инфинитива и их нормализация.....	209
5. Формы инфинитива в языковой практике духовной литературы.....	226
6. Формы 2 лица ед. числа презенса.....	238
6.1. Формы 2 ед. презенса в письменности XVII века.....	239
6.2. Формы 2 ед. презенса в языковой практике XVIII века.....	249
6.3. Кодификация форм 2 ед. презенса.....	254
6.4. Формы 2 ед. презенса в языковой практике духовной литературы.....	258
6.5. Эскурсы о формах 2 ед. презенса в драматических произведениях.....	264

Глава III. <i>А</i>-экспансия в косвенных падежах существительного во множественном числе	267
1. Формы дат., твор. и местн. падежей мн. числа существительных в языковой практике XVII в.	268
1.1. <i>А</i> -экспансия в стандартных церковнославянских текстах и в текстах не книжных	277
1.2. <i>А</i> -экспансия в гибридных церковнославянских текстах	296
1.3. Ориентация на образцы и нормализация как факторы, определяющие характер <i>а</i> -экспансии в текстах XVII в.	314
2. Отражение <i>а</i> -экспансии в текстах Петровской эпохи и светской литературе XVIII в. Характер нормализации	319
2.1. Реформаторское и нейтральное направления в языковой практике Петровской эпохи	322
2.2. Завершение нормализации и опыты стилистического использования старых флексий	333
3. Трактовка <i>а</i> -экспансии в грамматиках и филологических трудах. Способы устранения вариативности	352
3.1. Грамматические описания церковнославянского языка	353
3.2. Первые грамматики русского языка	361
3.3. Формирование академической традиции. Принципы нормализации	368
3.4. Ломоносов и послеломоносовская кодификация	379
4. <i>А</i> -экспансия в языковой практике духовной литературы XVIII века	385
4.1. Проповедь на гибридном церковнославянском. Утверждение жанровых особенностей	386
4.2. Отражение <i>а</i> -экспансии при переходе духовной литературы на русский язык	398
Глава IV. Формы прилагательных в именительном и винительном падежах множественного числа	408
1. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в русской письменности XVII века	408
1.1. Стандартный книжный регистр	410
1.2. Гибридный книжный регистр	418
1.3. Деловой не книжный регистр	438
1.4. Бытовой не книжный регистр	446
1.5. Факторы, определяющие разнообразие узуса	448
2. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в период формирования нового литературного языка	451
2.1. Смещение регистров и типы употребления форм им.-вин. мн. в Петровскую эпоху	451
2.2. Устранение вариативности в ходе академической нормализации 1720—1730-х годов	464
3. Кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа	475
3.1. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в церковнославянской грамматической традиции	475
3.2. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в грамматиках русского языка и академическая нормализация	480
3.3. Aftermath: Споры и колебания после 1733 года	489
4. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в духовной письменности XVIII века	508

Заключение. Некоторые итоги и теоретические выводы	529
П р и л о ж е н и е I. Простые претериты в светской письменности XVIII века	557
П р и л о ж е н и е II. Простые претериты в духовной литературе XVIII века	567
П р и л о ж е н и е III. Простые претериты и кодификация глагола в русской грамматической традиции XVIII века	578
Литература	602
Указатель	629

ВВЕДЕНИЕ

1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности

Структуралистская традиция в течение нескольких десятилетий приучала нас к тому, что уровни языка устроены если и не совсем одинаково, то во всяком случае похоже. Отдельные исследователи (например, Курилович) говорили даже об изоморфизме уровней языка. Эта страсть к тождеству ослепляла и не позволяла сосредоточиться на кардинальном различии уровней в функционировании языка, на том, что зоны ответственности каждого из уровней в языковой деятельности в целом достаточно дифференцированы. Морфология (словоизменение) оказывается в этой перспективе весьма специфическим уровнем, его можно было бы определить как — в сущности — коммуникативно бессмысленный. Морфология представляет собой как бы внутренность языка, те винтики и шестеренки языкового механизма, которые, вообще говоря, совершенно безразличны потребителю языкового продукта. Морфология — это технология коммуникативной деятельности, задающая «технологическую структурность» (в смысле Бодрийяра — Бодрийяр 1995, 4—5) языка как средства коммуникации и отделенная от его «функциональной структурности». В описании коммуникативного акта морфология присутствует столь же призрачно, как разбор двигателя внутреннего сгорания в рассказе об автомобильном путешествии.

Фонетический (для устного языка) или графический (для письменного языка) уровни необходимы для коммуникативного акта, поскольку сообщаемая информация должна иметь план выражения и организация этого плана существенна для эффективности коммуникации. Я не имею в виду, впрочем, никакой прямой связи между эффективностью коммуникации и «экономностью» организации плана выражения (см. ниже), но лишь тот тривиальный факт, что без распознаваемости внешнего выражения коммуникативный акт не может иметь места. Точно так же обмен информацией немислим без лексики, и этот факт настолько самоочевиден, что даже не нуждается в комментариях.

Кардинальное значение имеет синтаксис. Он выполняет не только формальное задание синтагматического развертывания смысла (на чем преимущественно сосредоточиваются формальные описания языка типа порождающих грамматик или модели «смысл — текст»), но определяет сам способ представления инфор-

мации, то, как оформляется дискурсивная интенция носителя языка, в какие смысловые блоки группируется сообщаемое содержание и — лишь в последнюю очередь — каким образом эти блоки трансформируются в линейную последовательность. Синтаксис неотделим от риторических стратегий говорящего, так что в этой перспективе стремление противопоставить риторику как область, имеющую дело с «экстралингвистическими» интенциями говорящего, лингвистике, трактующей абстрактный (независимый от говорящего) механизм реализации этих интенций, представляется абсолютно неосмысленным. Риторика, как она складывается в античности, как раз и учит препарированию смысла, т. е. представляет собой культурную разработку тех дискурсивных установок, которые изначально присутствуют во всяком речевом акте. Риторическая стратегия (обработанная или необработанная) присуща всякой речевой деятельности, и синтаксис призван описывать способы реализации риторических стратегий.

Мы вернемся к этой проблематике при обсуждении вопроса о регистрах письменного языка. Ограничиваясь в настоящий момент приведенными очень общими замечаниями, я стремился лишь подчеркнуть особый статус морфологического уровня. Никакого специального коммуникативного задания у морфологии нет, речевая деятельность не может обойтись без фонетики (графики), без лексики, без синтаксиса, поскольку у каждого из этих уровней есть свое дело в реализации коммуникативного акта. У морфологии своего дела нет, что и удостоверяется тем фактом, что существуют языки без морфологии (аморфные). Это не означает, конечно, что морфология, когда она имеется, ничему не служит. Формальные средства, присутствующие в языке, всегда эксплуатируются говорящими для разных нужд, т. е. не в одной, а в нескольких функциях (скажем, если в языке есть особая форма императива, она обычно употребляется не только для выражения просьбы или приказа, но и для обозначения особого характера действия или определенного типа связи в сложном предложении). Морфологические (словоизменительные) показатели маркируют статус слова в предложении (например, субъекта или объекта в предикативной конструкции, основного или вторичного предиката в полипредикативном построении и т. д.) и в силу этой своей роли создают возможность для таких синтаксических стратегий, которые при отсутствии словоизменения были бы невозможны (имею в виду, например, многообразие построений с нарушением проективности).

Такая связь морфологии с риторическими стратегиями говорящего существует, однако она представляется вторичной, тогда как основное задание морфологии с дискурсивными интенциями говорящего никак не связано. Так, скажем, в большинстве языков с морфологией имеется категория числа. Формы числа приписываются элементам соответствующих морфологических классов вне зависимости от того, входит или не входит в коммуникативную интенцию говорящего обозначение единственности или множественности упоминаемых им предметов (что хорошо видно из сопоставления, например, русского с китайским, в котором множественность обозначается лишь в тех случаях, когда она нужна говорящему). Прямое дополнение получает форму нужного падежа, даже если идентификация субъекта и объекта в конкретном высказывании самоочевидна и никакого эксплицитного выражения не требует. В морфологии в самом деле работает своего рода порождающий механизм, не зависящий от интенций говорящего и

снабжающий производимые им сообщения непредусмотренной информацией, которая едва ли не в большинстве случаев оказывается избыточной.

В силу этого полупаразитического статуса историческое развитие морфологии имеет специфический характер. Оно так же никому не нужно, как и сама морфология. Изменения в лексике и семантике очевидным образом связаны с культурным развитием языкового коллектива, с динамикой коммуникативных заданий, которые ставят перед собой говорящие. Не менее осмысленно и развитие синтаксиса. Диверсификация риторических стратегий приводит к появлению новых синтаксических построений, которые вступают во взаимодействие с унаследованным запасом и изменяют спектр комбинаторных возможностей, присутствующих в узусе. В фонетические изменения оказываются вовлечены свои экстралингвистические факторы, видимо, менее рациональной природы: ориентация на престижный диалект, дифференциация стилей произношения в зависимости от прагматической ситуации и т. п. Морфологические изменения никакими разумными причинами, по видимости, не обусловлены. Они производят впечатление самопроизвольного обновления системы, отвечающего ее внутренним потребностям. Именно эта бессмысленность делала морфологию фаворитом структурализма. В самом деле, какие резоны могут быть у носителей языка, чтобы заменить, скажем, у определенного подкласса существительных м. рода им. мн. на *-ы* им. мн. на *-а* (типа *города* → *города*)?

Обычные объяснения, предлагаемые исследователями в течение последних двух веков (когда эта проблема стала вызывать интерес), апеллируют к аналогии в более или менее изощренных модификациях этого понятия. Им. мн. на *-ы* заменяется им. мн. на *-а* в силу того, что флексия *-а* имеется у существительных ср. рода того же морфологического класса, или в силу того, что флексия *-а* становится у существительных унифицированным маркером мн. числа, или в силу того, что с исчезновением дв. числа флексия *-а* у парных существительных (типа *глаза*, *берега*) реинтерпретируется как показатель мн. числа и распространяется на непарные существительные, или, наконец, в силу того, что эта флексия закрепляется у односложных существительных подвижной акцентной парадигмы и постепенно захватывает существительные многосложные (можно, естественно, и комбинировать эти различные факторы). Ни одна из этих интерпретаций не обладает исчерпывающей объяснительной силой, но это несовершенство воспринимается как следствие сложности языкового механизма и не мешает приписывать самому изменению своего рода телеологический характер.

Действительно, ни при одном из возможных объяснений изменение нельзя отнести на счет сознательной или полусознательной интенции носителей языка. Никакой Иван Петрович, если только он был нормальным носителем языка, а не автором нормативной грамматики, не мог всю свою жизнь мечтать, например, об *-а* как унифицированном маркере мн. числа существительных, стараться подчинить этой мечте свою языковую деятельность и передать потомкам свои реформаторские планы. Правда, исследователи говорят порой о принципе экономии, который в разбираемом случае может выражаться, например, в том, что носителям удобнее иметь один, а не несколько показателей мн. числа. Генеалогия этого принципа достаточно очевидна. Это известный принцип буржуазной морали, прекрасно изученный Максом Вебером, и для абстрагирующей прогрессистской

науки он подходит в высшей степени. Как пишет Ницше о современных ему физиках и дарвинистах, они руководствуются «принципом “минимальной затраты силы” и максимальной затраты глупости» (По ту сторону добра и зла, 14). Очевидно, однако, что желание сэкономить усилия или память никак не может быть приписано отдельному носителю языка. Понятно, как Акакий Акакиевич экономил, не зажигая свеч, чтобы потом сшить себе шинель. Но совершенно непонятно, на какую выгоду может рассчитывать носитель, экономя, скажем, на количестве показателей мн. числа. Принцип экономии в применении к отдельному говорящему (пишущему, слушающему, читающему) выглядит абсурдно, и поэтому субъектом телеологических изменений оказывается сама абстрактная система языка. Этот метафорический субъект может быть, конечно, вместилищем любых желательных для исследователя интенций, однако связь этих метафорических интенций с языковой деятельностью неметафорических носителей языка никак-о рациональному объяснению не поддается и в силу этого проблематизирует само понятие языковой системы (см.: Тимберлейк 2002).

Если мы, временно забыв о системе, обратимся к языковой деятельности, доступной нашему наблюдению, мы, как этого и следует ожидать, не обнаружим никакой устремленной в будущее направленности, никаких побуждений носителя сделать систему языка более экономной или более последовательной или более совершенной в эстетическом отношении. Носитель выступает прежде всего как наследник того языкового опыта, который был накоплен предшествующими поколениями и освоен им в ходе его языкового существования (при устной коммуникации, в процессе чтения, при обучении языку и т. д.). Инновативная деятельность носителя может иметь место — в результате новых коммуникативных задач, которые он перед собой ставит, смены риторических стратегий, выбора престижного ориентира. Однако, как мы уже говорили, эта инновативная практика в обычном случае не распространяется на морфологию. Именно это обусловливает специфический интерес морфологии для историка языка. Преемственность узуса не нарушается здесь никакими внешними факторами.

Что делает носитель со своим морфологическим наследством, последовательно преобразовать которое он явно не имеет никакого резона (если, конечно, он не грамматист и не занят нормализацией языка)? Вообще говоря, он его достаточно слепо воспроизводит. Интересным представляется не столько вопрос о том, как он воспроизводит предшествующий узус (хотя и эта проблема заслуживает внимания, и мы вскоре к ней вернемся), сколько вопрос о том, что именно (какой именно узус) воспроизводит носитель. Этот вопрос, понятно, не может быть осмысленным образом поставлен, пока мы мыслим языковую деятельность в сосюровских категориях, как работу единого механизма (*la langue*), порождающего бесконечную и нерасчлененную массу языкового продукта (*la parole*), т. е. когда все моменты упорядоченности относятся на счет метафизической абстракции языка, а эмпирика речи представляется хаотическим мельканием теней, отображающих эту высшую реальность.

В этом построении единому языку соответствует единый узус, и именно его воспроизводит или модифицирует вполне иррелевантный для этой схемы носитель. К обсуждению того, какова социальная археология этой схемы и как ее неадекватность сказывается на истории языка, мы обратимся ниже. Как только мы

перестаем смотреть на узус как на нерасчлененную массу, а ставим перед собой вопрос, каким образом он упорядочен, проблема преемственности выходит на первый план, и одновременно уясняется значение исторической морфологии в качестве основного инструмента, позволяющего эту преемственность установить. Поскольку с точки зрения коммуникативного задания морфологические варианты предстают как чистые технологические издержки, они именно в силу этой своей избыточности оказываются наиболее наглядными индикаторами преемственности (как историческая произвольность сложившейся технологии).

Характер узуса очевидным образом зависит от той коммуникативной ситуации, в которой он реализуется. Люди говорят одним образом, когда они обсуждают бытовые проблемы в семейном кругу, и другим образом, когда их речь носит публичный характер или, скажем, когда они общаются с высшими силами (молятся, читают заговоры и т. д.). Совершенно аналогично, они по-разному пишут, когда речь идет о частном письме, официальной бумаге, газетной статье, научном трактате, романе, надписи на заборе и т. п. Носители языка в этих разнообразных ситуациях не приспосабливают к ним некий единый узус, а воспроизводят те коммуникативные навыки, которые ассоциируются с данной ситуацией. Это означает, что наследуемый языковой опыт содержит не только совокупность собственно лингвистических элементов, но и соотносительность этих элементов с набором коммуникативных ситуаций. Социально адаптированный взрослый носитель языка знает (и знает в силу социального обучения, т. е. по наследству), что публичному выступлению присущ иной узус, нежели, скажем, любовному письму, и действует в соответствии с этим знанием. Усвоение языкового опыта происходит применительно к ситуации; в силу этого узус не представляет собою единства, но расчленен на отдельные связанные с определенными коммуникативными ситуациями традиции, в рамках которых он и воспроизводится.

Насколько оформлены эти традиции, до какой степени они поддаются систематическому описанию — это один из основных вопросов, возникающих в рамках изложенного выше подхода к языковой деятельности. Этот вопрос явно недостаточно изучен, и априорного ответа на него очевидно не существует. Отдельным исследователям множество подобных традиций представляется размытым, плохо упорядоченным, образующим совершенно несхожие конфигурации у разных индивидов и потому не допускающим «полной объективации» их описания (см.: Гаспаров 1996, 99). Б. М. Гаспаров пишет: «“Знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого (следует, видимо, понимать «в процессе усвоения которого». — В. Ж.) это знание им приобреталось и пускалось в ход. Оно укоренено в переплетениях ассоциативных ходов — словесных, интонационно-жестовых, образных, сюжетных, — конфигурации которых неотделимы от личности субъекта» (там же). При таком понимании невозможно говорить о сколько-нибудь определенных традициях, но лишь о бесконечном множестве индивидуальных случаев, не подчиняющихся никакому «централизованному подходу». «Неопределенность условий, при которых протекает эта ассоциативная работа, — утверждает Гаспаров, — возможность бесконечного расширения и перестраивания мобилизуемого поля ассоциаций как нельзя лучше соответствует открытой, бесконечной множественности задач, возникающих перед говорящими в их пользовании языком» (там же, 98).

Человеку, однако, свойственно типизировать и классифицировать свой опыт, в том числе и опыт языковой. Из этого не следует, конечно, что он создает для своих повседневных нужд абстрактные модели языка, которыми была так увлечена структурная и генеративная лингвистика. Правдоподобно, однако, что коммуникативные ситуации распадаются для него на ряд дискретных типов, причем набор этих типов оказывается одним из важнейших признаков культуры данного общества в данный исторический период. Каждый из этих типов соотносится с определенной языковой традицией, с определенной разновидностью языка (регистром); множество регистров, которыми располагает языковой коллектив, обнаруживает важнейший аспект социальной природы языка, предполагающей структурирование языкового опыта его носителей (Живов и Тимберлейк 1997, 6; см. о понятии регистра в социолингвистике: Эллис и Юр 1982; применение этого понятия к истории языка византийской письменности можно найти в кн.: Броунинг 1989, XV, 103—133). В публичной сфере в эпоху средневековья и раннего нового времени, т. е. в период, которому посвящено настоящее исследование, типизация коммуникативных ситуаций носит особенно выраженный характер, поскольку формы культурной жизни воспринимаются как бесконечно повторяющиеся (циклически воспроизводимые), а неповторимые черты индивидуальных культурных ситуаций, равно как и возникающих в них текстов, культурным сознанием игнорируются.

Регистры не представляют собой законченных автономных языковых систем, существующих независимо друг от друга; законченная система, впрочем, и вообще представляется структуралистским мифом, не приложимым ни к одному из сегментов языковой деятельности ни одного из языковых коллективов (не приложимым, в частности, и к случаям билингвизма — ср.: Живов и Тимберлейк 1997, 5; Гаспаров 1996, 112—114). Регистры взаимопроницаемы, т. е. они обладают общим языковым материалом, а специфический языковой материал каждого из регистров может быть инкорпорирован в речевую деятельность, соответствующую другому регистру, в качестве своего рода чужого слова. При всей взаимопроницаемости, однако, каждому из регистров присуща своя риторическая установка, а следовательно и своя синтаксическая стратегия. Традиция (социальная преемственность языкового опыта) связывает с каждой из риторических установок специфический языковой материал, и в силу этого регистры обладают и набором соотнесенных с ними формальных языковых элементов, в том числе и морфологических.

Возникающие здесь социолингвистические и психолингвистические проблемы изучены далеко не удовлетворительно; подробное их обсуждение в рамках настоящей монографии вряд ли было бы уместно. Ситуация облегчается тем, что предлагаемое читателю исследование обращается почти исключительно к письменному языку. Что же касается письменного языка, то можно полагать, что лингвистические традиции в нем структурированы более отчетливо, а преемственность носит более выраженный, а, главное, в большей степени поддающийся наблюдению характер, чем в языке устном. Подобная ситуация определяется в конечном итоге тем незамысловатым обстоятельством, что опыт письменного языка приобретается в более сознательном возрасте, в большей степени связан с обучением и более непосредственно соотнесен с отработанными дискурсивными

стратегиями данного общества, с набором дискурсов, которые в нем употребляются. Любой речевой акт может рассматриваться как явление культуры, но при этом именно речевой акт в рамках письменного узуса представляется культурным феноменом по преимуществу. Преемственность в регистрах письменного языка оказывается в этой перспективе одним из наиболее существенных явлений культурной памяти социума.

Именно для анализа этой преемственности морфология, как уже говорилось, имеет принципиальное значение. Если воспроизводство синтаксических построений или лексического облика может быть отнесено на счет тождества или сходства коммуникативных ситуаций, то воспроизводство морфологических параметров ничем, кроме преемственности навыков письма в рамках определенной традиции, объяснить нельзя. Речь не идет, естественно, о тех морфологических элементах, которые являются общими для всех письменных традиций. Если, скажем, форма дат. ед. существительных м. рода требует окончания *-у/-ю* (*столу, князю*) и так обстоит дело во всех регистрах языка, употребление этой флексии ни о какой преемственности не свидетельствует; хотя этот элемент, как и любой другой, первоначально осваивается носителем языка в рамках определенного регистра, в его языковом опыте он ни с каким отдельным регистром не соотносится и в силу этого никак не указывает на принадлежность анализируемого речевого акта к одной из традиций. В языках с синтетической морфологией, однако, всегда имеется некоторое количество морфологических вариантов, и дистрибуция этих вариантов обычно находится в той или иной зависимости от регистров языка. Такая ситуация соответствует самой природе вариативности в языке.

Действительно, вариативность имманентна для языкового узуса. «Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т. е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т. д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией» (Живов и Тимберлейк 1997, 13).

В русских письменных текстах XVII в. окончание род. ед. ж. рода представлено тремя вариантами: *-ья/-ия*, *-ой/-ей* и *-ье/-ие*. Лишь в редких случаях, однако, все эти три варианта могут быть обнаружены в одном тексте. Как правило, в стандартных церковнославянских памятниках встречается только флексия *-ья/-ия*, в гибридных книжных текстах эта флексия употребляется наряду с флексией *-ой/-ей*, в текстах делового характера преимущественное распространение получает флексия *-ье/-ие*, а флексия *-ой/-ей* появляется в качестве дополнительного варианта (ср.: Унбегаун 1935, 323—325; Черных 1953, 306—307; Пенningтон 1980, 252), тогда как в бытовой переписке основным вариантом оказывается

флексия *-ой/-ей*, флексия *-ые/-ие* может рассматриваться как вариант дополнительный, тогда как флексия *-ья/-ия* встречается лишь в редких случаях. Очевидно, что выбор варианта никак непосредственно с коммуникативным заданием не связан. Те или иные флексии употребляются в данном тексте не потому, что это требуется его функциональными характеристиками, а потому, что производитель данного текста обладает определенным опытом их писания, возникшим прежде всего из чтения аналогичных текстов; сложившиеся таким образом навыки письма он и реализует в соответствующей этим навыкам коммуникативной ситуации. Преемственность узуса выступает здесь, таким образом, в чистом виде.

Вместе с тем даже на приведенном элементарном примере видно, как отличаются по своему качеству разные письменные традиции. Стандартные церковнославянские тексты последовательно употребляют лишь одну флексию, и эта последовательность несомненно обусловлена нормализационным контролем над письменными навыками. Традиция в данном случае состоит в поддержании достаточной эксплицитной нормы, что предполагает, в свою очередь, существенную роль формального обучения (пусть даже не в форме привычного для нас школьного выучивания грамматики). И гибридная, и деловая традиции менее ригористичны; письменные навыки возникают здесь «естественным» путем, т. е. не столько в результате обучения, сколько в результате подражания. В социальном плане подражание такого типа указывает на своего рода профессионализацию (преемственность социальной роли), поскольку навыки письма возникают как отражение определенного профессионально ориентированного круга чтения; это особенно ясно в случае деловой традиции: приказной служащий всю жизнь читает приказные бумаги и именно благодаря этому опыту научается производить аналогичные документы. В бытовом регистре регламентация минимальна; письменные навыки разного происхождения оказываются здесь смешанными, а собственная традиция слабо очерченной; она проявляется в отсутствии нормативных элементов других традиций. Пишущий простое письмо пишет его не так, как он писал бы челобитную, даже если он обладает навыками делового письма, и не так, как летописную статью, даже если он занимается летописанием; этот выбор связывает его с определенным узусом (узусом бытового регистра), однако не требует от него жесткого контроля, который исключал бы элементы, идущие из инородного языкового опыта.

Многослойная вариативность морфологических элементов, характерная для русской средневековой письменности, — она и делает ее столь привлекательной для изучения проблем преемственности, — в значительной степени обусловлена тем обстоятельством, что русская книжная традиция формируется как продолжение традиции кирилло-мефодиевской, основанной на инославянском языковом материале. В арсенале языковых средств, которыми располагал средневековый русский книжник, объединялись автохтонные (восточнославянские) и усвоенные извне (церковнославянские) языковые элементы, что и стимулировало вариативность. Вариативность, естественно, идет не только из этого источника. Как и в других языках, она может быть обусловлена сочетанием старого и нового, элементов одного диалекта с элементами другого диалекта, однако изначальная гетерогенность письменного узуса существенно увеличивает потенциал вариативности. Для того чтобы понять, как это происходит, надо уяснить характер взаи-

модействия русского и церковнославянского в истории русской письменности, его специфику сравнительно, например, со взаимодействием французского и латыни в истории французской письменности.

В полной мере эта проблема будет рассмотрена ниже, однако, не входя в подробное обсуждение, можно утверждать, что представление о русском (восточнославянском) и церковнославянском как двух языках, функционирующих в одном языковом коллективе, основано на структуралистской вере в абстрактные языковые системы, все элементы которых взаимозависимы и определены своим отношением ко всем прочим элементам¹, и в силу этой своей структуралистской природы данное представление никак не отражает узус, реально наблюдаемый в памятниках восточнославянской письменности. Если придерживаться сосюрковского кредо, этот узус соотнесен с двумя независимыми друг от друга языковыми системами — русской и церковнославянской, поскольку разнородные элементы, присутствующие в этом узусе, в одну систему упаковать невозможно. Соотношение этих систем может описываться по-разному — как двуязычие, или как диглоссия, или как сосуществование языкового стандарта и диалекта, — но в любом случае как нечто внешнее по отношению к самим языковым системам, характеризующее не язык, но культурно-языковую ситуацию, не затрагивающую целостность языковых систем как таковых. Они оказываются помещены как бы в разных отсеках сознания носителя, и описание реального узуса превращается в хитроумные попытки проследить, как он блошиным скоком перемещается от одной системы к другой, вставляя «славянизмы» в продукт «русской» системы или, напротив, вставляя «русизмы» в продукт системы церковнославянской. Достаточно вспомнить в этой связи разнообразные опыты расчленения летописных текстов на «русские» и «церковнославянские» фрагменты (ср.: Хютль-Фольтер 1983; Успенский 1983, 45—46).

При таком подходе морфологическая вариативность, обусловленная исконной гетерогенностью узуса, перестает в сущности быть вариативностью, трансформируясь в выбор между двумя системами. Не буду сейчас касаться вопроса о том, могут ли вообще две языковые системы располагаться в языковом сознании одного носителя языка, не взаимодействуя друг с другом (например, в случаях несомненного билингвизма) и в какой степени понятие системы приложимо к явлению языковой компетенции как экзистенциальной составляющей сознания (негативный ответ автора на оба эти вопроса очевиден из предшествующих строк). Безотносительно к этим общетеоретическим проблемам очевидно, что наличие обширного языкового материала, общего для русского и церковнославянского, предполагает определенную интеграцию соответствующего языкового опыта. В самом деле, было бы нелепо думать, что церковнославянский **сто́лъ** сидит в церковнославянской системе, а в другом отсеке, в восточнославянской системе, сидит **сто́лъ** восточнославянский. Если же языковая компетенция средневекового русского автора обходится одним **столомъ** (**столомъ**, **сто́льмъ**), т. е. если интегрирован общий языковой материал, то определенным образом интегрированы и элементы, исходно (генетически) различавшие церковнославянский и русский.

¹ Ср. в этом плане у Б. А. Успенского весьма характерное определение литературного языка как *la langue* в отличие от языка литературы, который определяется как *la parole* (Успенский 1987, 1).

Характер их интегрированного сосуществования зависит, надо думать, от уровня языка. Так, различающиеся синтаксические построения окажутся, как правило, распределены по разным коммуникативным ситуациям, что обусловит их относительно автономное существование (см. ниже). Интерференция этих изначально компартиментализованных элементов осуществляется в этом случае через границы различающихся коммуникативных заданий и поэтому может быть лишь ограниченной. То же самое верно, *mutatis mutandis*, и для лексики. Такие слова, как **благобытик** или **прѣобразитиса** нечасто оказываются в одной компании со словами типа **цѣжь** или **камѣка**. Поэтому они существуют как бы сами по себе, разнесенные по разным дискурсивным сферам, и вопрос об их интегрированном сосуществовании не стоит так же, как в современном русском языке для слов (к примеру) *глобализация* и *нужник*. Морфология, как мы видели, непосредственно с коммуникативным заданием не связана, поэтому морфологические элементы разного происхождения не распределяются по узусам разного типа. Они не могут не существовать интегрированно, т. е. как соотнесенные варианты.

В силу этих обстоятельств интерференция в морфологии существенно более интенсивна, чем в синтаксисе или лексике. Как отмечает А. А. Гиппиус, стремясь определить границы нормы книжного (церковнославянского) языка древней Руси (задача, которая в настоящем исследовании подвергается существенному переформулированию), «к XIII—XIV вв., когда орфографическая норма оказывается уже унифицированной по ряду важнейших признаков, морфологическая вариативность, обладающая большей самостоятельностью, не только не ослабевает, но, напротив, усиливается за счет появления новых значимых оппозиций в результате собственно восточнославянского языкового развития. Вариативность морфологических форм является, следовательно, не преходящим этапом в истории образования русского извода, но принципиальным свойством самой этой нормы» (Гиппиус 1989, 95). Не в меньшей степени вариативность морфологических форм свойственна и некнижным восточнославянским текстам, т. е. она может рассматриваться как характерная черта восточнославянской и русской средневековой письменности во всех ее разновидностях. А. А. Гиппиус говорит в этой связи о «функциональном объединении <...> с одной стороны, восточнославянских, диалектных и “новых”, а с другой — южнославянских, общерусских и “старых”» вариантов; он отказывается приписывать им заранее какие-либо системные характеристики, сочетая их в ряды вариантов, вполне условно характеризуемых в рамках ряда как «левые» и «правые» (там же, 99).

Ясно, что речь идет об арсенале вариантов, из которого разные узусы (индивидуальные или складывающиеся в традиции) выбирают различные частные, по-разному упорядоченные наборы или конфигурации вариантов. Как уже говорилось, если появляются варианты, появляется и интенция (бессознательная или сознательная) дифференцировать их употребление. Так, скажем, когда в восточнославянских говорах наряду со старыми флексиями полных прилагательных под влиянием склонения неличных местоимений появляются новые флексии (например, род. ед. м. и ср. рода *-ого* наряду с *-аго*), в книжных памятниках новые флексии довольно часто употребляются с субстантивированными прилагательными или с прилагательными в полупредикативной функции (в конструкциях второго винительного, второго дательного или дательного самостоятельного),

подчеркивая тем самым особый синтаксический статус соответствующей словоформы (Гиппиус 1993, 74—76). Такого рода дистрибутивные параметры могут затем подвергаться переосмыслению, экстраполироваться на новые категории словоформ и создавать традицию употребления, характерную для данного узуса и отличающую его от других функционально заданных узусов. Воспроизведение подобной дистрибуции указывает на преемственность, на то, что автор или переписчик более позднего текста черпал свой языковой опыт из чтения аналогичных по функции более ранних текстов и в результате освоил (адекватно или не совсем адекватно) присущее им употребление, специфическую для них конфигурацию морфологических вариантов.

Определенная традиция употребления вариантов возникает в любом случае, вне зависимости от того, как они распределены. В разных памятниках варианты представлены в разных пропорциях, причем в памятниках одного типа (жанра, регистра) и одного периода эти пропорции обычно оказываются достаточно близкими. Это вполне естественно, поскольку наборы образцовых текстов, на которые ориентируется пишущий, степень консерватизма, уровень нормализации и иные подобные параметры, определяющие эти пропорции, объединяют тексты одного регистра. Таким образом, пропорции, в которых встречаются варианты одного морфологического показателя, являются существенной характеристикой регистра, а воспроизведение этих пропорций указывает на преемственность узуса. Сходство пропорций при этом обусловлено не общей прагматикой текстов одного регистра (как это может иметь место с синтаксическими или лексическими параметрами), а преемственностью как таковой, тем, что навыки письма отражают читательский опыт пишущего, в обычной социальной ситуации связанный преимущественно с определенной группой текстов (имею в виду, например, что сочинитель нового канона обычно начитан в богослужебных текстах, а составитель приказной отписки — в канцелярских бумагах).

Дистрибуция вариантов могла бы быть лакмусовой бумажкой, позволяющей автоматически определять принадлежность текста к определенному регистру, классифицировать регистры и фиксировать преемственность узуса, если бы не одно весьма существенное обстоятельство — изменчивость узуса. Параметры дистрибуции, характерные для текстов определенного регистра в один период, оказываются иными в следующий. Текст, создаваемый в рамках определенного регистра, может воспроизводить более консервативные и менее консервативные образцы, так что даже в рамках отдельного периода вполне однородных параметров может не быть. Преемственность, понятно, не исключает изменений, но изменения делают анализ преемственности достаточно сложной процедурой, требующей прежде всего понимания того, как они происходят. Только определив механизм изменений, можно установить, что различающиеся параметры дистрибуции находятся в преемственной связи друг с другом.

Каким же образом меняется узус в письменном языке на морфологическом уровне? Обоснованный ответ на этот вопрос был бы вряд ли уместен во вводных параграфах, поскольку именно ему и посвящено все последующее изложение. Некоторые предварительные наблюдения, однако, стоит обсудить уже здесь, поскольку без них окажутся неясными и задачи исследования, и выбор анализируемого материала. Мы уже говорили о том, что языковой опыт носителя не образу-

ет единой системы, но существует в привязке к типическим коммуникативным ситуациям. В силу этого он компартиментализован, что не означает, однако, что части, на которые он распадается, существуют как законченные и замкнутые системы. Наряду с вектором, уходящим в прошлое и определяющим связь речевой деятельности носителя с традициями определенного регистра, имеется и другой вектор, синхронного порядка, идущий от более динамичных частей его языкового опыта к менее динамичным частям, и именно взаимодействие этих двух составляющих определяет эволюцию узуса в каждом из регистров.

Пропорции употребления вариантов в отдельно взятом тексте одного из регистров отражают обычно целый набор факторов. Первый из них, как мы уже знаем, — это преобладание в рамках данного регистра. Пишущий воспроизводит тот узус, который он находит в освоенных им текстах с аналогичным коммуникативным заданием. Вернее, он не воспроизводит этот узус, а воспринимает его как исходный и подвергает его переосмыслению. Характер переосмысления зависит от коммуникативной установки регистра (иными словами, от его культурного статуса). Давление традиции (не только собственно языковой, но и социокультурной) может быть большим, как, например, в случае богослужебных текстов или канцелярских документов, и меньшим, как, например, в случае исторического нарратива или частного письма. Чем слабее давление традиции, тем больше свобода переосмысления. Эта свобода приводит, в принципе, к тому, что варианты, присутствующие в разных сегментах языкового опыта пишущего (в частности, в его разговорном языке), будут расширять сферу своего употребления за счет вариантов, специфичных для отдельных регистров. Наличие многорегистровых вариантов в текстах, которые осваивает пишущий, служит прецедентом для дальнейшего употребления; при этом то, что вначале было окказиональным вариантом, может стать вариантом вполне употребительным, а через несколько поколений пишущих даже и господствующим. Такую эволюцию узуса можно называть естественной (самопроизвольной). Эта естественность, впрочем, относится к сфере психологии пишущего субъекта, а не к некой «естественной» телеологии самой языковой системы; с естественностью последнего типа мы вообще дела не имеем.

Естественная эволюция — это не единственный фактор, влияющий на дистрибуцию вариантов. Если для определенного регистра поддержание традиции выступает как сознательное требование, пишущие стремятся естественной эволюции противодействовать. Для такого противодействия пишущему нужны нормализационные решения, регулирующие употребление вариантов. При отсутствии нормативных грамматик и институционализованного обучения языку эффективность подобных решений остается чаще всего ограниченной, но тем не менее влияющей на пропорции употребления вариантов. На эти пропорции могут воздействовать и различные частные факторы, такие, например, как закрепление одного из вариантов в устойчивом и часто повторяющемся словосочетании, степень «цитатности» порождаемого текста, стремление автора архаизовать свой узус, выражающееся обычно в репертуаре синтаксических построений, но вовлекающее и характерные для таких построений морфологические варианты. Определенная часть употреблений может быть объяснена как проявление сознательной или бессознательной интенции автора, связанной с этими частными факто-

рами, и микроанализ текста позволяет выявить значимые фрагменты этого типа². Однако как бы ни обстояло дело с отдельными случаями, общие пропорции соответствуют, как правило, тем, что мы находим в других текстах того же регистра и того же периода. Наследуемая традиция оказывается, таким образом, более важной составляющей текста, чем индивидуальные отклонения. Именно в силу этого дистрибуция вариантов выступает как важнейшее свидетельство преемственности в динамическом развитии каждого из регистров.

2. Морфологическая нормализация в процессе формирования русского литературного языка нового типа

Положение кардинальным образом меняется с возникновением русского литературного языка нового типа. Литературные языки, будучи согласно определению Пражских тезисов, «*le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante*» (Вахек 1964, 45), характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. Именно эти черты и приобретает русский литературный язык нового типа в продолжении XVIII — начала XIX века (ср.: Кайперт 1999). Фрагментированность средневекового узуса, при которой каждый из регистров обладает специфическим набором языковых средств, сменяется полифункциональностью и общезначимостью, когда единая норма навязывается всем «культурным» членам языкового коллектива и текст (во всяком случае, письменный) производится в соответствии с этой нормой вне зависимости от коммуникативной ситуации (полифункциональность). Начиная с Петровской эпохи, старые регистры письменного языка вытесняются на периферию языковой деятельности, что знаменует их постепенное отмирание — для одних полное (приказной язык и гибридный церковнославянский), для других частичное (стандартный церковнославянский, остающийся в употреблении лишь как язык богослужения). С конца 1720-х годов начинается кодификация этого литературного языка, отбирающая языковой материал из уходящих в прошлое письменных традиций, систематизирующая его и формирующая единую норму нового литературного языка. Тот языковой материал, который остается за рамками этой нормы, во многих случаях не полностью выводится из употребления, а сохраняется в качестве дополнительных вариантов; эти варианты получают стилистическую нагрузку, как правило, несущую на себе отпечаток той письменной традиции (и связанных с нею коммуникативных ситуаций), к которой они восходят. Так у нового литературного языка появляется стилистическая дифференцированность.

² Такие фрагменты могут быть описаны с помощью бахтинского понятия чужого слова. Структуралистская методика анализа текста (полевого материала) предусматривала устранение подобных фрагментов из основного исследуемого корпуса, поскольку они не порождены той системой, которая генерирует собственный текст данного носителя. С нашей точки зрения, никакого «собственного текста» вообще нет, носитель пользуется наследуемым языковым материалом, всегда сохраняющим определенный отпечаток (социокультурные ассоциации) предшествующих употреблений. Речь может идти только о большей или меньшей выраженности в каждом из фрагментов цитатных интенций носителя.

Таковы общие очертания процесса формирования русского литературного языка нового типа, который, впрочем, лучше было бы именовать просто русским литературным языком, поскольку в допетровскую эпоху литературного языка в том понимании, которое было намечено выше, просто не существовало³. Этот процесс затрагивает морфологический уровень едва ли не в наибольшей степени. Во всяком случае он непосредственно отражается на дистрибуции морфологических вариантов. В период кодификации нового литературного языка сама немотивированная вариативность превращается в *bête noire* нового культурного сознания, лишние варианты должны быть либо устранены, либо снабжены дополнительной дистрибуцией, основанной на формальных или стилистических контекстах употребления.

Хорошим примером может служить история флексии прилагательных им. ед. м. рода. Вариантами здесь являются флексии *-ой/-ей* и *-ый/-ий*. В письменности XVII в. эти варианты в определенной степени распределены по регистрам. В стандартных церковнославянских текстах употребляется исключительно *-ый/-ий*; в деловых господствует вариант *-ой/-ей*, тогда как флексия *-ый/-ий* употребляется в ограниченном числе тематически маркированных контекстов (см.: Пеннингтон 1980, 251); в гибридных текстах, напротив, преобладает окончание *-ый/-ий* при слабо нарастающем появлении окончания *-ой/-ей* в качестве дополнительного варианта; в бытовой письменности, наконец, пропорции в употреблении двух вариантов существенно колеблются от текста к тексту. В текстах петровского времени границы между регистрами размываются, традиции смешиваются в своего рода плавильном тигле секулярного узуса, и параметры употребления вариантов становятся малоупорядоченными, не связанными с коммуникативным заданием текста. Частные попытки нормализации не изменяют общей ситуации⁴.

Эта ситуация начинает меняться с первыми опытами кодификации литературной нормы в 1730-е годы. В грамматике И.-В. Пауса в парадигме прилагательного *добрый* в им. ед. м. рода окончание *-ой* дается с пометой *R* (русское), окончание *-ый* — с пометой *S* (славянское) (Живов и Кайперт 1996, 10). Паус

³ Такой точки зрения придерживался А. В. Исаченко, полагавший, что «русский литературный язык в современном понимании этого (...) термина возникает лишь в течение XVIII в.» (Исаченко 1976, 297; ср.: Кайперт 1988б, 315—316; Живов 1996, 14—15). Этот взгляд пока что не стал общепринятым. В. В. Виноградов, например, считал, что «русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5), и именно последняя точка зрения лежит в основе концепции церковнославянско-русской диглоссии, развиваемой Б. А. Успенским (Успенский 1987; Успенский 1994; Успенский 2002). Определение «нового типа» как раз и служит для того, чтобы противопоставить литературный язык, формирующийся в XVIII в., тем средневековым идиомам, которым продолжает приписываться эта роль. Когда такое противопоставление установлено, вопрос приобретает терминологический характер и выбор обозначения не имеет принципиального значения.

⁴ К таким опытам можно отнести немногочисленные случаи замены флексии *-ой/-ей* на флексию *-ый/-ий* в той правке, которую вносит Софроний Лихуд в перевод «Географии генеральной» Б. Варения, сделанный Федором Поликарповым (см.: Живов 1986а, 257). Замены не проведены последовательно. Во многих других текстах ничего, напоминающего подобное стремление к унификации, не наблюдается.

первым вводит такое противопоставление, тогда как его предшественник, пастор Глюк дает в качестве вариантов *доброй* и *добрый* (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 230), а еще ранее Лудольф фиксирует только окончание *-ой* (Лудольф 1696, 19). Адодуров, однако, избирает в качестве нормативного вариант *-ый/-ий*, который фигурирует в его грамматике в качестве единственного (Адодуров 1731, 29—30). В соответствии с этой нормой он правит и второе издание «Немецкой грамматики» М. Шванвитца (Шванвитц 1734): *-ой* последовательно заменяется здесь на *-ый* (кроме ударных флексий после непарных по твердости-мягкости согласных; здесь, напротив, последовательно вводится *-ой*, что реализует принцип дополнительной дистрибуции). Языковая практика, тем не менее, не следует этим нормализационным предписаниям, и окончание *-ой* продолжает употребляться в текстах разных авторов в качестве допустимого варианта (Живов 1988а, 36). Ориентируясь, видимо, на эту практику, Ломоносов в «Российской грамматике» дает для им.-вин. ед. м. рода три варианта окончания: *-ый, -ой, -ей*, хотя ранее он вслед за Паусом и Кантемиром противопоставлял флексию *-ый/-ий* в качестве «славенской» флексии *-ой/-ей* в качестве «великороссийской»⁵.

Хотя первый опыт нормализации не приносит успеха, задача остается актуальной, а вопрос дискутируемым. В 1750-е годы Тредиаковский несколько раз обвиняет Сумарокова в том, что тот употребляет «площадные» выражения, приводя в качестве примера формы прилагательных им.-вин. ед. м. рода с окончанием *-ой* (*злой* вместо *злый*, *черной* вместо *черный* — см.: Пекарский 1865, 104; Успенский 1984а, 103; Успенский, II, 377). Тредиаковский, таким образом, продолжает прежнюю линию нормализации, и у него есть последователи, например, М. М. Щербатов, который, подготавливая к изданию «Историю Петра Великого» Феофана Прокоповича (Феофан Прокопович 1773), последовательно исправляет *-ой/-ей* на *-ый/-ий*, причем независимо от места ударения (Живов 1988а, 36). В большей степени учитывает складывающуюся практику решение, предложенное А. А. Барсовым. В его «Российской грамматике» варианты *-ый/-ий* и *-ой/-ей* соотносятся с различием высокого и «обыкновенного» слога и эта стилистическая дифференциация дополняется указанием на то, что *-ой* предпочтительно в положении под ударением (Барсов 1981, 146). Барсов тем самым стремится установить дополнительную дистрибуцию вариантов, причем использует для этого и стилистические, и формальные параметры (что, конечно, обуславливает непоследовательность нормализации). В дальнейшем языковая практика развивается в обоих направлениях, намеченных Барсовым. Стилистическая дифференциация обсуждаемых вариантов широко используется в прозе Карамзина и некоторых его современников, тогда как с 1810-х годов окончательно утверждается дополнительная дистрибуция, основанная на формальных параметрах: флексия *-ой*

⁵ Имею в виду замечания Ломоносова на трактат Тредиаковского об окончаниях прилагательных во мн. числе (1746 г.), в которых указывается: «...Славенской язык от Великороссийскаго ничем столько не разнится, как окончаниями речений. Например, пославленски единственные прилагательные мужеские именительные падежи кончатся на *ый* и *ий*, *богатый*, *старший*, *синий*; а повеликороссийски кончатся на *ой* и *ей*, *богатой*, *старшей*, *синей*» (Ломоносов, IV, 1; Ломоносов, VII², 83). Кантемир проводит то же различие в «Письме Харитона Макентина» (Кантемир 1744, 22/II, 18—19).

употребляется в позиции под ударением, в безударной же позиции закрепляется вариант *-ый/-ий* (см. § 1.8). Таким образом, процесс выбора нормализационного решения, сохраняющего свою актуальность и для современного русского литературного языка, длится почти столетие. Регламентация употребления имеет в этот период активный и целенаправленный характер, и это отличает динамику морфологического уровня в литературном языке от тех процессов, которые можно наблюдать в развитии регистров письменного языка предшествующего периода.

Сложность выработки нормализационного решения была в существенной степени связана с тем обстоятельством, что, устраняя фрагментированность средневекового узуса, новый литературный язык получает в наследство все то множество вариантов, которое ранее было разнесено по различным регистрам. Именно это хаотическое многообразие, резервуар вариантов, «петровский пул» становится полем упорядочивающей деятельности нормализаторов. Нужно было выработать принципы этой деятельности, выработка принципов и оказывается той кардинальной проблемой, которая в течение всего XVIII столетия питает полемический азарт устроителей нового языкового стандарта. Нужно иметь в виду, что наборы вариантов, имевшиеся в распоряжении нового литературного языка, были не просто безликими совокупностями формальных элементов. Они могли отсылать к определенным письменным традициям, тем самым и к определенным дискурсивным моделям, а отсюда и к тем культурным категориям и культурным ценностям, которые ассоциировались с этими дискурсивными моделями. Задача нормализации была — как это ей и вообще свойственно — не только формально-лингвистической проблемой, но и проблемой культурного выбора (об этом аспекте см. подробно в нашей работе: Живов 1996).

Нормализационная установка в отношении письменного языка, определяющая для его развития в период с 1730-х годов, не была вполне чуждой предшествующему периоду. Она была значимой и для стандартных церковнославянских текстов, неоднократно подвергавшихся нормализующей справе, и для языка деловых документов (приказного языка). Однако новый языковой стандарт целенаправленно отталкивался от церковнославянского и имел мало общего с языком приказным. Поэтому перенос (и совершенствование) тех принципов нормализации, которые пусть и в неявном виде присутствовали в этих регистрах, не воспринимался в качестве приемлемого решения проблемы. Заимствование нормализационных принципов оказалось бы в этом случае и заимствованием культурной позиции. С регистром стандартного церковнославянского ассоциировалась «клерикальная» позиция, а с деловым регистром — «непросвещенная» допетровская государственность⁶. Это было то наследство, от которого новая европеизи-

⁶ Стоит вспомнить, что с начала XVIII в., т. е. после возвращения Петра из Великого посольства, когда Петр начинает формировать новый идеал государственного устройства, меняется и система делопроизводства. В частности, на смену столбцам приходят тетради. В указе Петра от 12 июня 1700 г., вводящем эту инновацию, царь распоряжался «[в] Поместном Приказе всякия дела писать в дестевыя тетради по кераксе, а в столбцах не писать» (ПСЗ, IV, № 1797, с. 59). Через месяц это распоряжение было повторено и снабжено обоснованием: «для того, ведомо Ему Великому Государю учинилось, что в приказах из столбцов многия дела пропадают подьяческим небрежением, а иныя и промыслом чело-

рованная культура решительно отказывалась. Вместе с тем сама европеизирующая установка ничего для нормализации морфологических вариантов не давала — кроме самого принципа исключения немотивированной вариативности, противоречившей замыслу нового литературного языка как благоустроенного европейского идиома. Синтаксические стратегии могут заимствоваться или, во всяком случае, отбор синтаксических стратегий из множества существующих возможностей может осуществляться под влиянием иноязычной риторической традиции (см. об этом ниже). Морфологические варианты, как уже говорилось, непосредственно с риторической стратегией не связаны, и поэтому их упорядочение может основываться только на критериях, специфичных для данного языка. Это и обуславливает сложность их выработки.

Формирование русского литературного языка нового типа было результатом языковой политики Петра I и в этом плане вписывается в контекст петровских культурных и социальных реформ. Реформаторский характер этого процесса не означает, однако, что появившееся в результате новообразование не обладало никакой преемственностью — история языка не отличается в данном отношении от истории социальных институтов, юридических норм и т. д. Преемственности не могло не быть, поскольку языковой материал — слова, синтаксические построения, морфологические элементы — должен был откуда-то черпаться. Инновации, такие как заимствованные слова или синтаксические кальки, составляли лишь небольшую часть вовлеченного в языковое строительство материала. При этом основной источник языкового материала определялся доминирующими функциональными параметрами усваиваемого узуса, иными словами, доминирующим коммуникативным заданием текстов на новом секулярном языке. Наиболее значимыми для письменности петровского времени были нарративные и описательные тексты (типа «Истории Северной войны» или «Географии генеральной» Б. Варения), а отнюдь не деловые документы и, тем более, не церковная литература. Этим моментом и обусловлено то обстоятельство, что в конструировании нового секулярного языка важнейшую роль играет материал гибридного регистра письменного языка предшествующей эпохи. Хотя новый литературный язык претендует на полифункциональность и в силу разных причин синтезирует фрагментированные ранее письменные традиции, синтетическое разнообразие красок накладывается на подмалевок унаследованного гибридного узуса; так во всяком случае может быть охарактеризована динамика определяющего для функционирования языка синтаксического уровня. Эта преемственность во многом определяет исходную историческую композицию нового литературного языка.

Вопрос об исторической композиции нового литературного языка — это одна из важнейших проблем, встающих при анализе становления современного рус-

битчиков»; отмечалось также, что столбцы с особенной рьяностью грызут мыши и портят гниение (ПСЗ, IV, № 1803 от 2 июля 1700, с. 64—66); 11 декабря 1700 г. подобное же распоряжение было специально обращено в Сибирский приказ (там же, № 1817, с. 86—87), а 10 марта 1702 г. еще раз повторено: «в Приказах всякия дела писать на гшербовой бумаге в тетрадах, а по прежнему обыкновению на столбцах не писать, для того, чтоб в Приказах всякия челобитчиковы дела были в переплете в книгах, а не в столбцах» (там же, № 1901, с. 190). Старое делопроизводство воспринимается как варварское, и это не могло не наложить отпечатка и на восприятие языка этого делопроизводства.

ского литературного языка. Традиционно эта проблема ставилась как вопрос о «происхождении» современного русского литературного языка и в этой постановке вызывала ожесточенные дискуссии, в которых лингвистические аргументы смешивались с историко-культурными позициями (см. обзоры этих дискуссий: Виноградов 1969; Исаченко 1975; Филин 1981; там же и литература вопроса). Одна сторона настаивала на том, что современный русский язык находится в преемственных отношениях с церковнославянским (наиболее последовательно эта позиция сформулирована в работах Б. О. Унбегауна: Унбегаун 1965; Унбегаун 1970; Унбегаун 1971). Противоположная точка зрения состояла в том, что современный русский литературный язык является по происхождению русским, а «церковнославянизмы» выступают в нем как чужеродные элементы, усвоенные под влиянием церковнославянского языка. Речь шла о соотношении «церковнославянского» и «русского» языкового материала в составе современного литературного языка, причем церковнославянский и русский рассматривались как две противопоставленные языковые системы, оппозиция которых определялась генетически (южнославянское vs. восточнославянское) (ср.: Живов 1996, 111—114). Понятно, что в рамках предлагаемого в настоящей работе подхода проблема предстает в совершенно ином свете.

Характеристика тех или иных элементов в категориях их русского или церковнославянского происхождения теряет всякий смысл, она представляет интерес только для вопроса о том, как в начальный период письменности формировались отдельные письменные традиции. Она, однако, никак не объясняет последующей динамики этих традиций (регистров). В период формирования русского языкового стандарта эти традиции были уже вполне сложившимися и разнообразные элементы языка ассоциировались именно с ними, а не со своим генетическим прошлым (можно сказать, что значимыми стали не их генетические, а их функциональные параметры — ср.: Живов 1996, 26—30). Особенности этой ассоциативной связи зависели, как уже говорилось, от уровня языка. Для синтаксического и лексического уровня зависимость строилась на сходстве коммуникативного задания, для графического уровня — на развитии языковой политики, для морфологического же — на преемственности как таковой.

В силу этого для разных уровней различался и способ преобразования узуса при формировании нового литературного языка (ср. наблюдения Г. Хютль-Фольтер, сделанные, впрочем, в терминах оппозиции русского и церковнославянского языков — Хютль-Фольтер 1984—1985). На графическом уровне этот процесс носил символический и программный характер. В 1708 г. Петр I вводит в употребление гражданский шрифт, знаменующий разрыв с церковнославянской традицией; после того как этот разрыв оказывается свершившимся фактом, имел место своего рода обратный ход, не отрицающий произошедшего разрыва, но делающий гражданское письмо менее идущим вразрез с традиционными письменными навыками (восстановление букв *з*, *и*, *ѣ*, *ѣ* и т. д. — см.: Живов 1986б; Кайперт 1999б); таким образом, на графическом уровне разрыв сочетался с преемственностью по отношению к книжным регистрам письменного языка.

На синтаксическом уровне процесс, как понятно из уже сказанного, обладал совсем иными особенностями; он определялся сходством коммуникативного задания тех текстов, которые были центральными для нового литературного языка,

с текстами гибридного регистра, при этом отбор из унаследованных синтаксических построений стимулировался синтаксической организацией «европейских» литературных языков (одним из каналов этого европейского влияния были переводы — см. ниже, § 1.7). Не менее специфично было и формирование лексического уровня нового литературного языка: первоначальное насыщение текстов заимствованной лексикой, символизировавшей новую культурную установку, было затем (с 1730-х годов) перекрыто пуристической тенденцией, соответствовавшей пуризму французской лингвистической теории, а приспособление этой теории к русскому языковому материалу создавало те стилистические рубрики, которые придавали лексике нового литературного языка стилистическую дифференцированность (ср.: Живов 1996, 171—183).

Морфология, понятно, трансформировалась своим особым путем. В производство новых «культурных» текстов были вовлечены люди с разным лингвистическим опытом, преобразовавшие свои наследственные языковые навыки в самом процессе языковой реформы. Коммуникативное задание новых текстов в наибольшей степени сходствовало с коммуникативным заданием текстов гибридного регистра (таких как летописи, повести, переводные космографии и т. п.). Однако употребление морфологических вариантов непосредственно от коммуникативного задания не зависело, и в силу этого «культурные» тексты Петровской эпохи оказываются весьма разнородны по своим морфологическим характеристикам — в большей степени, видимо, чем по синтаксическим и лексическим параметрам.

Морфологической разнородности не в меньшей степени способствует и то обстоятельство, что новосоздаваемый идиом претендует на полифункциональность, и в результате сложившиеся письменные традиции начинают функционировать вне традиционно отведенной для них сферы употребления. Например, законодательные акты типа «Правды воли монаршей» пишутся не в русле старой приказной традиции, а на языке, в неменьшей степени связанном с гибридной традицией. Это смещение сферы употребления также не может не приводить к трансформации морфологических параметров, поскольку, даже если в основу создаваемого текста кладется одна из существующих традиций, неизбежна интерференция той традиции, которой ранее принадлежала данная сфера употребления (коммуникативная функция); интерференция возникает здесь хотя бы в силу того, что воспроизводятся устойчивые для данной сферы употребления словосочетания (скажем, формулы делового языка в отдельных частях «Правды воли монаршей»).

Такое перекрестное наложение нестандартного для различных коммуникативных заданий (сфер употребления) языкового опыта и нестандартных для носителей с определенным языковым опытом коммуникативных заданий приводит в петровское время к видимому морфологическому хаосу. Именно морфологию имел по преимуществу в виду А. В. Исаченко, который, описывая язык петровского времени, говорит о «*die Ratlosigkeit, das sprachliche Chaos*» (Исаченко 1983, 532). Первобытный хаос — это то состояние, из которого рождается новая жизнь. В чем состояла хаотичность нового идиома, поддается объяснению. Те элементы, которые ранее были распределены по разным письменным традициям (по разным регистрам письменного языка), теперь оказываются сваленными в одну ку-

чу, которую я, в перспективе дальнейшего развития, предпочитаю называть «петровским пулом» (Живов 2001а, 396—398). Та вариативность, которая ранее была упорядочена фрагментацией узуса по разным регистрам, теперь оказывается неупорядоченной в рамках единого нефрагментированного узуса.

Ситуация кажется хаотичной лишь на первый взгляд. Анализ параметров морфологической вариативности должен, в принципе, дать возможность увидеть, из каких наслоений складывается узус каждого из текстов и какой план построения нового литературного языка стоит за этим узусом. Столкновение и синтез разных (имплицитных) проектов построения новой нормы могут быть прослежены в последующем (послепетровском) развитии. Должно уясниться, из элементов каких письменных традиций конструируется норма нового литературного языка, как в этом процессе сказываются новые коммуникативные задания в их взаимодействии с различными письменными навыками. Особенное значение в этом процессе имело приспособление созданной академическими филологами нормы к начавшемуся в ту же послепетровскую эпоху процессу формирования новой русской изящной литературы. Именно это многофакторное переплетение новых установок и старого узуса в его различных разновидностях — а отнюдь не лобовое столкновение русского и церковнославянского — формирует полифункциональную норму нового языкового стандарта. Изложенный подход к изучению данного процесса определяет и хронологические рамки настоящего исследования, и отобранный для него материал.

3. Задачи, материал и план исследования

Для языковой реформы петровского времени были актуальны те особенности узуса, которые сложились в предшествующем XVII столетии. Письменные традиции этой эпохи очень мало изучены, данные, полученные в отдельных исследованиях, практически не обобщались и поэтому ни в какую систематическую картину не складываются. Исследователи, занимавшиеся текстами этого времени, чаще всего стремились извлечь из них сведения, говорящие о процессах, происходивших в разговорном языке (таковы, например, работы С. И. Коткова — Котков 1963; Котков 1974), и собственная динамика письменного языка их никак не интересовала (несмотря на то, что отражение изменений в разговорном языке могло быть обнаружено только через призму этой динамики). Не интересовали их обычно и пропорции употребления морфологических вариантов; в этом плане наблюдения чаще всего ограничивались общей констатацией того, что вариант, приписываемый разговорному языку, со временем встречается чаще и чаще. Понятно, что при концепциях этого рода тексты, обнаруживавшие лишь минимальное влияние разговорного языка, по большей части просто игнорировались; соответственно никакого воздействия этих текстов на не книжный узус не фиксировалось. В этих условиях не представляли интереса и подробные статистические данные.

Таким образом, необходимой первой задачей настоящего исследования оказывается анализ употребления морфологических вариантов в допетровских текстах разного типа. В этом анализе мы ограничиваемся текстами XVII в., лишь в

редких случаях обращаясь к более раннему материалу, для того чтобы понять тот фон, на котором формировались закономерности в динамике письменных традиций XVII в. Верхняя хронологическая граница нашего рассмотрения определяется более содержательным образом: мы завершаем рассмотрение тем временем, когда норма для анализируемых морфологических показателей окончательно сложилась, т. е. когда материал для анализа оказывается практически исчерпан. Как уже говорилось, норма нового литературного языка складывается постепенно, по одним морфологическим показателям нормализация проходит существенно быстрее, чем по другим; причины этой асинхронности не всегда ясны, но явно могут служить предметом особого анализа. Весь процесс нормализации завершается лишь в начале XIX в., и за пределы этого периода наше исследование не выходит.

Поставленные задачи определяют и выбор материала описания. Любые параметры морфологической вариативности тем или иным образом распределены по регистрам письменного языка и, следовательно, могут характеризовать их динамику и характер их трансформации при переходе к единому литературному языку. Однако не все параметры одинаково удобны для анализа. Прежде всего исследуемая морфологическая подсистема должна быть достаточно сложной; только в этом случае в ней можно различить действие отдельных факторов, делающих тот или иной набор вариантов (то или иное их статистическое распределение) привязанным к определенной письменной традиции. Так, скажем, в склонении прилагательных им.-вин. ед. м. рода обнаруживает лишь два варианта (см. выше), и выбор одного из них никак непосредственно не связан с выбором вариантов других флексий (например, род. ед. м. рода или им.-вин. мн. м. рода), т. е. не привязан ни к какой более крупной подсистеме. Поэтому оппозиция здесь оказывается бинарной и единственное членение узуса, которое задается этой оппозицией, — это членение регистров по степени их удаления от книжной нормы. Отсюда и то или иное распределение вариантов, встречаемое в памятниках разного типа, характеризует интенции пишущего лишь с одной стороны и лишь в одном аспекте позволяет проследить эволюцию отдельных регистров. Когда мы имеем дело с более сложными и разветвленными подсистемами, такими, скажем, как флексии косвенных падежей существительных во мн. числе, вариативность которых обусловлена *a*-экспансией, мы получаем возможность наблюдать, как действуют разные факторы и как по-разному под действием этих факторов изменяется узус в разных регистрах. Соответственно и формирование нормы нового литературного языка предстает как многомерный выбор, трансформирующий различные письменные традиции.

Второе требование к анализируемому материалу имеет скорее технический характер. Набор морфологических вариантов должен быть таким, чтобы он поддавался статистической обработке. Это означает, что варианты должны встречаться достаточно часто, так чтобы даже в пределах не слишком большого текста статистические параметры были репрезентативными. Следует иметь в виду, что для отдельных жанров письменности (например, деловых документов или бытовой переписки) пространственные тексты встречаются лишь как исключение и поэтому при анализе относительно редких морфологических элементов достоверные статистические данные для отдельных регистров письменного

языка просто не могут быть получены. Так, скажем, определенный интерес представляет употребление вариантов *-и* и *-ѣ* в дат. ед. и местн. ед. мягкой разновидности *а*-склонения; оно, казалось бы, могло служить параметром, различающим письменные традиции XVII в. и характеризующим процесс нормализации в следующий период. Однако попытки проследить историю этой вариации, выйдя за пределы самых элементарных утверждений, не приносят ответов на общие вопросы, а ставят исследователя перед множеством неразрешимых частных проблем.

Действительно, вариативность флексий *-и* и *-ѣ* в XVII в. наблюдается в разной пропорции и в стандартных церковнославянских текстах, и в текстах на гибридном языке, и в текстах делового и бытового характера. Уже в московских деловых текстах XVI в. флексия *-и* получает статус периферийного варианта. Приводя соответствующие примеры (типа *на другой недѣли, на своей земли*), Б. О. Унбегаун отмечает, что «les exemples ne sont pas nombreux et figurent partout à côté des formes normales et infiniment plus fréquentes des mêmes mots» (Унбегаун 1935, 51). Этот статус периферийного варианта флексия *-и* сохраняет, видимо, и в деловых текстах XVII в. и начала XVIII в. (см.: Черных 1953, 276; Станг 1952, 25; Пеннингтон 1980, 227; Ладюкова 1956, 9); стилистической значимости данный вариант при этом не получает (см.: Пеннингтон, там же). В гибридных текстах (например, у Аввакума) вариант *-и* встречается чаще (возможно, как равноправный вариант, хотя формы на *-ѣ* в ряде текстов преобладают), опять же без ясной стилистической нагрузки (см.: Кокрон 1962, 31; Чернов 1977, 28—29). Определить, однако, какие пропорции свойственны каким традициям, невозможно, поскольку нужные для анализа формы встречаются слишком редко, так что выйти за рамки очевидного наблюдения — в стандартных церковнославянских текстах *-ѣ* встречается как исключение, а во всех остальных достаточно обычно — никакой возможности нет.

В текстах на «простом» языке Петровской эпохи можно отметить такую же вариативность, как и в текстах XVII в., за исключением стандартных церковнославянских (ср. форму местн. ед. *земли* в переводе книги Буйе 1713 г. — Буйе 1713, 13, 21); не подкрепленная, однако, четкими статистическими параметрами, она не позволяет увидеть, к какому наследию примыкает узус реформируемого при Петре языка. В каком направлении идет реформирование, можно выяснить. Так, например, среди исправлений, сделанных Софронием Лихудом в тексте «Географии генеральной», находим (в качестве окказиональных, непоследовательных замен) в дат. ед.: *земл<и>ѣ* лл. 154, 190, 440об., в местн. ед.: *земл<и>ѣ* л. 777 (см.: Живов 1986а, 256). Каковы побудительные причины этого реформирования, выяснить труднее: это могут быть и попытки нормализации, не чуждые Лихуду, и переориентация на иную письменную традицию (скажем, от гибридной к деловой), и результат «естественной» эволюции (как она была определена выше). Без расчлененных статистических параметров нет очевидных оснований для выбора одного из объяснений, а получить такие параметры оказывается невозможным.

Не вполне ясным оказывается и соотношение нормализационных решений кодификаторов нового литературного языка и современной им языковой практики. В грамматике Глюка находим дат. ед. *земль*, но местн. ед. *земли* (Кайперт,

Успенский, Живов 1994, 182)⁷. У Сойе, однако, фиксируется только флексия *-ѣ* (*каплѣ, пняциѣ* — Сойе, I, 35). И. В. Паус первым соотносит рассматриваемые варианты с противопоставлением русского и церковнославянского. Согласно Паусу, в местн. ед. четвертого склонения «славянскому» окончанию *-и* соответствует «русское» *-ѣ* (*Objectivus hat ruthenice mehr *ѣ* als *и** — л. 55 об.; см.: Живов и Кайперт 1996, 8). Адодуров в грамматическом очерке 1731 г. следует Паусу и устанавливает флексию *-ѣ* как нормативную, а окончание *-и* (говоря о дат. падеже) рассматривает как неприемлемый славянизм (Адодуров 1731, 15—17). Эта интерпретация связана с переосмыслением вариативности в генетических терминах, обусловленным поисками критериев нормализации в 1730-е годы (ср.: Живов 1996, 195—216). Решение Пауса и Адодурова преемственно воспроизводится затем — уже без апелляции к генетической оппозиции — в последующих грамматиках, например, у Гренинга (Гренинг 1750, 84, 86—88), Ломоносова (IV, 66—67) и Барсова (1981, 105).

Это нормализационное решение, однако, не только не отражает сложившийся узус, но находится в противоречии с собственной языковой практикой кодификаторов языка. Можно указать, например, на нередкие у Ломоносова формы местн. ед. *на земли* (Ломоносов, I, 5, 124, 163; II, 188), как правило, не обусловленные рифмой, относящиеся к разным периодам его творчества и никак не связанные, по всей видимости, с его филологическими установками. Такие формы неоднократно появляются затем в литературе второй половины XVIII — начала XIX вв. (см.: Обнорский, I, 293). Употребление сочетания *на земли* может быть обусловлено влиянием церковнославянской литературной традиции (ср. в Молитве Господней *яко на небеси и на земли*). В принципе, такого рода скрытая отсылка может придавать стилистическую значимость как самому этому сочетанию, так и соответствующему морфологическому варианту, однако и в этом случае оснований для ответа не находится. Действительно, практически выбор значим лишь для одного слова — *земля*⁸. Что же касается других слов данного словоизменительного типа, то либо окончание у них является безударным (в

⁷ Возможно, это обусловлено тем, что в параллельной парадигме твердой разновидности имеется форма дат. ед. *водѣ*, а форма местн. ед. просто отсутствует (Кайперт, Успенский, Живов 1994, 182), т. е. параллелизм твердой и мягкой разновидности мог сказаться в дат., и не сказаться в местн. падеже.

⁸ Особый статус данного слова особенно заметен в духовной словесности. Форма *земли* продолжает широко употребляться здесь и после того, как языком духовной литературы становится русский. Так, в проповедях Гedeона Кривого в рассматриваемом словоизменительном типе в дат.-местн. ед. флексии *-ѣ* и *-и* являются вариантными, причем форма *земли* является особенно устойчивой. В частности, в первом издании *воль* встречается 12 раз, *воли* — 31; в то же время *землѣ* появляется лишь 5 раз, тогда как *земли* — 94; это соотношение сохраняется и во втором издании, хотя в отдельных случаях *-и* правится здесь на *-ѣ* (форму *земли* эта правка затрагивает лишь в одном случае) (Челлберг 1957, 115—116). Особый статус формы *земли* отражается и в Собрании разных поучений 1775 г., ср. местн. ед. *земли* (Гавриил и Платон, I, л. 48; II, л. 14 об. et passim); в других формах этого словоизменительного типа в дат.-местн. ед. находим здесь флексию *-ѣ*, ср.: *неволь* (II, л. 99), *воль* (II, л. 99) и т. д.; та динамика в сторону норм светского литературного языка, которую можно наблюдать в данном тексте сравнительно с произведениями Гedeона, на форму *земли* не распространяется.

этом случае выбор имеет чисто орфографический характер и оказывается полностью зависим от нормализационной модели, ср. *воли* — *волѣ*), либо речь идет о словах, появляющихся в литературном языке лишь окказионально, с частотой, не допускающей формирования репрезентативной выборки (типа *шлея, солея, конопля, сопля, петля, тля* и т. д.). Как бы то ни было, доступные исследователю статистические данные не дают возможности воссоздать динамику морфологической вариативности в рассматриваемом словоизменительном типе и соотнести эту динамику с процессом нормализации. Единственный вывод, который можно сделать на их основании, не отличается существенно от того не слишком содержательного утверждения, которое можно найти в существующих работах по исторической морфологии, а именно, что при формировании нормы современного русского литературного языка в XVIII — начале XIX в. вариант, представленный в разговорной речи, вытесняет более «архаичные» формы.

Вопрос о частоте исследуемых морфологических вариантов очевидным образом связан с тем, как выделяются словоизменительные классы (типы), актуальные для описания морфологических процессов в письменном языке отдельного периода. Эта проблема не имеет простого механического решения, поскольку речь идет о том, как группируются лексические единицы в сознании пишущего, какие аналогии важны для него при выборе морфологического варианта. Очевидно, например, что обычная для работ по исторической морфологии группировка существительных по (праславянскому) типу основы для изучаемого нами периода в полном объеме вряд ли актуальна, по крайней мере *и*-склонение как отдельный словоизменительный класс в XVII—XVIII вв. явно не выделяется (к этой проблеме мы еще вернемся ниже, см. § III.1). Речь идет не только о результатах исторической перестройки морфологической системы, но и о разном характере взаимодействия регистров в разных морфологических подсистемах.

Так, рассматривая употребление вариантов *-и* и *-ѣ* в дат. ед. и местн. ед. мягкой разновидности *а*-склонения, мы не анализировали слова на *-ия/-ья* (типа *судия/судья, епитимия/епитимья, поезия, литургия, виктория, свинья, семья* и т. п.). Они явно образуют особый класс со своей особой динамикой вариантов. В этом классе две группы лексем находятся в бинарной оппозиции: слова, удерживающие /i/ перед /j/, и слова с выпавшей гласной перед /j/. Слова первой группы имеют книжный характер и в словоизменении сохраняют традиционные книжные формы, в частности флексию *-и* в дат.-местн. ед., тогда как слова второй группы избирают в качестве варианта флексию *-ѣ*. Эта оппозиция, нормативная для современного русского литературного языка, утверждается уже в XVIII в. Это связано с уже упоминавшимся переосмыслением вариативности в генетических терминах, однако в качестве противопоставляемых элементов фигурируют здесь прежде всего основы: основы, удерживающие /i/, рассматриваются как славянские, а основы с выпавшей гласной как русские. Это обуславливает и выбор морфологического варианта: *-и* для «славянских» основ и *-ѣ* для «русских». Так, в грамматике Пауса в парадигме слова *судия* противопоставляются формы дат. ед. *судіи*, род. мн. *судіи*, вин. мн. *судіи* русским формам с флексиями *-ѣ, -ей, -еи* (л. 47). Варианты с этими флексиями приводятся и в других парадигмах мягкой разновидности (л. 47). Это решение воспроизводит М. Шванвиц в своем «Compendium Grammaticae Russicae», в котором существительное *судия/судья* снабжа-

ется двойной парадигмой, причем *судя* в дат.-местн. ед. получает форму *судіи*, тогда как формой дат.-местн. ед. от *судья* становится *судьѣ* (Кайперт 2002, 187). Шванвиту же следует Адодуров, рассматривающий формы дат. ед. на *-и* как полностью противоречащие «*dem Genio der Russischen Sprache*» (Адодуров 1731, 15; ср.: Живов и Кайперт 1996, 19). Таким образом, нормализация в данном случае основывается на иных параметрах, чем в парадигмах типа *земля*, за этими разными путями нормализации стоит, видимо, разная динамика узуса, и эти различия требуют отдельного анализа для соответствующих классов слов; последствия такого разделения для возможностей статистического анализа очевидны⁹.

Изложенные выше соображения и определяют отбор материала, анализируемого в настоящей работе. Исследуются три морфологических подсистемы, показывающие разные аспекты динамики языкового узуса и дающие представление о разных путях нормализационного процесса при формировании литературного языка нового типа. Первый очерк посвящен формам инфинитива и 2 лица ед. числа презенса; вариативность в этих формах возникает за счет единого процесса отпадения конечной гласной в служебных морфемах, что и приводит к появлению вариантов *-ти/-ть*, *-тися/-ться*, *-ши/-шь*, *-шися/-шься* и т. д. В формах инфинитива вариативность осложняется ударностью/безударностью показателя инфинитива, так что узус в различных регистрах письменного языка оказывается производным от целого ряда факторов, воздействующих на относительную частоту отдельных вариантов. Формы инфинитива появляются с большой частотой в текстах разных жанров, так что не возникает проблем с формированием репрезентативных выборок. Формы 2 лица ед. числа презенса, напротив, в большинстве письменных памятников встречаются достаточно редко и предполагают специфическую коммуникативную ситуацию (прямого обращения к адресату или собеседнику), и в этом плане они несопоставимы с формами инфинитива. Эти различия в частоте и коммуникативной привязке позволяют понять, однако, как прагматические факторы воздействуют на образование письменных навыков в разных регистрах письменного языка и как эти исходные различия влияют затем на характер стилистической дифференциации вариантов в процессе нормализации нового литературного языка.

Второй очерк посвящен *а*-экспансии, т. е. изменению в склонении существительных окончаний *-омъ* в дат. мн., *-ы/-ьми* в тв. мн. и *-ѣхъ/-ехъ* в местн. мн. на окончания, соответственно, *-амъ*, *-ами* и *-ахъ*. Хотя в разных падежах и в разных словоизменительных классах этот процесс протекал не синхронно и в целом растянут едва ли не на пять столетий, его можно рассматривать как единое изменение, что и дает возможность трактовать его отдельные моменты как части целого, анализируя их в сопоставлении друг с другом. Для XVII—XVIII вв. процесс *а*-экспансии в разговорном языке в основном завершен, за исключением лишь *і*-склонения, так что вариативность старых и новых флексий в письменных текстах обусловлена исключительно преемственностью в рамках письменного языка

⁹ В качестве особого подкласса мягкой разновидности *а*-склонения следует, видимо, выделять и основы на шипящий и *ц*, которые также обладают специфической динамикой и особым характером нормализации. Аналогии с твердой разновидностью работают в этом подклассе более интенсивно, чем в парадигмах типа *земля*.

как такового. Вариативность характерна для всех сегментов данной подсистемы, и различные конфигурации вариантов и их статистических характеристик позволяют достаточно наглядно увидеть, как преемственность «работает» внутри отдельных письменных традиций. При анализе этой подсистемы отчетливо виден и тот сдвиг, который происходит в Петровскую эпоху, создавая условия для формирования литературного языка нового типа. Нормализация в этой подсистеме достигает окончательного результата достаточно рано, однако стилистическое использование отбрасываемых вариантов отчетливо фиксируется в качестве побочного результата нормализационных процессов.

Третий и последний очерк описывает историю окончаний полных прилагательных в им.-вин. падежах мн. числа. Дистрибуция вариантов в текстах XVII в. указывает здесь на действие тех же в целом факторов, что и в случае *а*-экспансии, так что в конфигурации регистров письменного языка и их динамике новые моменты практически не выявляются. Можно сказать, к счастью — поскольку подтверждаются результаты, полученные в предшествующем очерке. Интереснее другой аспект развития этой подсистемы: многообразие употреблений, наблюдаемых в текстах Петровской эпохи. Одни из них указывают на прямую преемственность с параметрами гибридного регистра письменного языка, другие — на отталкивание от этой традиции. Этот противоречивый фон и служит отправным моментом для нормализации 1730-х годов и, видимо, определяет ее компромиссный характер. Возможно, в силу этого характера нормализации отбрасываемые варианты приобретают стилистическую значимость лишь в очень ограниченных пределах. Особый интерес представляет та полемика вокруг нормализации этих морфологических показателей, которую ведет Тредиаковский (рассматривавший трактат об окончании прилагательных во мн. числе едва ли не как главное дело своей жизни) и его оппоненты (в первую очередь Ломоносов). В этой полемике находят наиболее красноречивое выражение те направляющие принципы, которые диктуют выбор критериев нормализации (такие как общность или, напротив, различие природы русского и церковнославянского, самостоятельность нормы русского языка и т. д.). Таким образом, данная морфологическая подсистема позволяет увидеть существенные аспекты развития письменного языка, не столь очевидные в истории других подсистем.

Первоначально я предполагал включить в данную книгу еще и очерк истории системы прошедших времен. Простые претериты (формы аориста и имперфекта) функционируют в письменном языке русского средневековья как основные признаки книжности (см. об этом понятии: Живов 1996, 23—24), т. е. как те морфологические элементы, которые манифестируют книжный характер порождаемого текста. Теоретические проблемы, связанные с понятием признака книжности, были рассмотрены в другом месте (Живов 1988; Живов 1996, 23—24), и возвращаться к ним в данной работе вряд ли было бы осмысленно. Стоит, однако же, заметить, что именно в употреблении прошедших времен наиболее отчетливо проявляется механизм переосмысления, связывающий узус, осваиваемый книжником в опыте чтения, с его собственным узусом (см. ниже, § I.6). Для письменности XVI—XVII вв. этот механизм все в большей степени подчиняет выбор временных форм становящейся категории вида, что выражается в уменьшении пропорции форм аориста от бесприставочных (*simplex*) глаголов и соотносительности вто-

ричных имперфективов с формами имперфекта. Маркированность форм имперфекта в отношении к аористу приводит к тому, что инновативные *л*-формы в наибольшей степени вторгаются в сферу употребления имперфекта (статистический анализ соответствующих пропорций в Мазуринском летописце см. в нашей работе: Живов 1995а)¹⁰.

Характер употребления временных форм, однако, не является проблемой вполне морфологической. Хотя в некоторых памятниках (гибридного регистра) формы аориста, имперфекта и *л*-формы выступают как морфологические (т. е. семантически недифференцированные) варианты, доминирующим и не знающим исключений такое употребление вплоть до Петровской эпохи не становится. Конфигурация временных форм определяется не столько преемственностью навыков письма, сколько нарративной стратегией пишущего (см. проницательные наблюдения П. В. Петрухина — Петрухин 1996), и в этом плане история прошедших времен радикально отличается от истории тех морфологических подсистем, о которых мы говорили выше. Отличается и судьба этих элементов в Петровскую эпоху. Их изгнание из нового литературного языка как раз и обозначает разрыв с предшествующей лингвистической традицией. Он непосредственно выражается в правленных текстах этого времени (таких как «География генеральная» Б. Варения или «История Петра Великого» Феофана Прокоповича), в которых простые претериты устраняются и заменяются на *л*-формы (см. анализ этих текстов в наших работах: Живов 1986а; Живов 1988а; Живов 1996, 98—110). В силу этого в литературном языке нового типа простые претериты в принципе не используются, а потому и не подвергаются никакой нормализации.

Это не означает, однако, что они полностью устраняются из языкового опыта авторов XVIII в. Во-первых, они присутствуют в филологической мысли кодификаторов нового литературного языка, воздействуя на способы кодификации глагольной системы. Во-вторых, они сохраняются в духовной литературе XVIII столетия как морфологические варианты *л*-форм, т. е. без какой-либо семантической дифференциации (без связи с нарративной стратегией пишущего), приобретая постепенно стилистическую нагрузку. В результате этого переосмысления они начинают функционировать так же, как другие морфологические элементы, отвергаемые нормой нового литературного языка, и попадают в сферу тех лингвистических преобразований, которые анализируются в настоящих очерках. В-третьих, наконец, они окказионально появляются и в светской литературе

¹⁰ О переосмыслении временных форм, привязывающем их к категории вида, см. § 1.6. Что касается Мазуринского летописца, то в нем замечательно то обстоятельство, что соотношение форм нсв. и св. вида у *л*-форм существенно отличается от того же соотношения у простых претеритов. Отношение простых претеритов нсв. вида к общему числу простых претеритов колеблется в разных частях летописи между 15 % и 20 %, в целом по летописи этот показатель составляет 17,7 %. Отношение *л*-форм нсв. вида к общему числу *л*-форм дает совсем иные цифры, значения этого показателя колеблются между 35 % и 40 %, в целом по летописи он составляет 38,6 %. Итак, пропорция форм нсв. вида у *л*-форм приблизительно на 20 % выше, чем у простых претеритов, и это, конечно, статистически весьма значимое отличие. Это означает, что экспансия *л*-форм приводит и к экспансии форм нсв. вида, охватывающих ту семантическую область, которая принадлежала имперфекту, и расширяющих эту область за счет новых значений.

XVIII в. как специально маркированное стилистическое средство, отсылающее к духовной традиции. И в этом случае они используются так же, как другие «отбросы» нормализационного процесса в морфологии. Эти три аспекта согласуются с теми проблемами, которые обсуждаются в основной части монографии, и поэтому их рассмотрение естественно располагается в приложениях к ней.

Три означенных выше очерка и приложения, посвященные системе прошедших времен, и составляют план предлагаемой читателю работы. Прежде чем перейти к конкретным описательным главам, целесообразно, однако, уяснить ряд теоретических моментов, значимых для анализа морфологической вариативности. Эта теоретическая часть составляет первую вводную главу, в которой нам предстоит обсудить характер сосуществования церковнославянских и восточнославянских элементов в узусе русской средневековой письменности, соотношение синтаксических и морфологических параметров в упорядочении этого узуса — в распределении языкового материала по регистрам письменного языка, процесс формирования регистров как относительно автономных фрагментов письменного узуса в целом, риторические стратегии, связывающие регистры письменного языка с определенными сферами культурной деятельности. Теоретического осмысления требует и процесс формирования русского литературного языка нового типа, роль грамматической кодификации в этом процессе, соотношение нормализационных усилий и языковой практики; эти последние проблемы, впрочем, были подробно рассмотрены в моей книге 1996 г. (Живов 1996), к которой я и отсылаю читателя. В настоящей же книге я предполагаю ограничиться лишь некоторыми наблюдениями, относящимися к соотношению синтаксической и морфологической нормализации как разных преобразований предшествующего фрагментированного по регистрам узуса.

Прежде чем без оглядок тронуться в путь, я хотел бы, однако же, выразить сердечную признательность друзьям и коллегам, с которыми я в течение многих лет, занятых написанием этой книги, обсуждал затрагиваемые в ней проблемы. Моя благодарность принадлежит Е. Э. Бабаевой, А. А. Гиппиусу, Дж. Дель'Агата, А. А. Зализняку, Е. А. Земской, Г. Кайперту, Г. Ланту, Н. Марчиалис, В. А. Плунгяну, М. ди Сальво, А. Тимберлейку, Н. И. Толстому, Б. А. Успенскому, Г. Хютль-Фольтер. Несмотря на их советы и замечания, ошибки и заблуждения несомненно остаются и в окончательном тексте, и в этой части авторство безусловно принадлежит мне одному. Было бы непростительной забывчивостью не упомянуть здесь и Российский гуманитарный научный фонд, научно-исследовательский грант которого (№ 96-04-06108) много способствовал продвижению этой работы, а также Humanities Research Fellowship Калифорнийского университета в Беркли, позволивший мне завершить предлагаемый читателю труд.

Глава I

НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ И ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси

Как уже говорилось во Введении, одним из источников широкой морфологической вариативности, свойственной письменному языку средневековой Руси, было соединение в нем двух разнородных начал: кирилло-мефодиевской письменной традиции, южнославянской по происхождению, и местных языковых навыков, отражавших опыт разговорного языка восточных славян. Трактовка этой вариативности в существенной мере зависит от того, как интерпретируется данное соединение. Таким образом, морфологическая вариативность обращает нас к традиционному вопросу истории языка восточнославянской письменности — проблеме соотношения церковнославянского (языка кирилло-мефодиевской традиции в ее восточнославянской редакции) и русского (восточнославянского). При определенной интерпретации, как мы уже отмечали, вариативность, столь ощутимо присутствующая в исследуемых текстах, превращается в чистый фантом, в феномен интерференции двух противопоставленных языковых систем, своего рода макаронизм, рассматриваемый как свойство текстов (*la parole*), не затрагивающее внутренней организации самих систем (*les langues*).

Действительно, в истории письменных языков православного славянства, как, впрочем, и в истории многих других идиомов, которым приписывается статус языкового стандарта, исследователи в течение долгого времени основное внимание уделяли соотношению черт, отражающих и не отражающих устный узус, т. е. «реальную» (с точки зрения этих исследователей) историю языка, противопоставленную «искусственным» явлениям. Главной, таким образом, оказывалась проблема взаимодействия устного и письменного языков, а целью историка — отделение «истинной» истории от тех искажений, которые накладывала на нее письменная традиция. Этот подход определялся рядом теоретических пресуппозиций и сложившихся научных интересов. Такой подход естествен и отчасти оправдан, когда ставятся задачи сравнительно-исторического изучения языков: предполагается, что происходящие в языках изменения имеют системный (организмический) характер (например, характер фонетического закона), и для реконструкции этого закона необходимо устранить из рассмотрения неорганические ча-

стности, этот закон нарушающие. Методика подобного устранения была подробно разработана младограмматиками и утвердилась в языкознании в качестве общего подхода к языку уже вне зависимости от тех задач, которые ставились исследователями. В частности, при структурном описании языка те же самые элементы могли рассматриваться как инородные и несистемные вкрапления в гомогенную упорядоченность языковой системы (ср.: Живов и Тимберлейк 1997). При таком подходе, понятно, появляется призрак абсолютно спонтанной, исключаяющей культурную рефлексию языковой деятельности, в которой язык порождает речь как бы без участия носителя и в силу этого реализуется как полностью органическая система.

У этого подхода есть и обратная сторона. Языки специфически письменные, погруженные в культурную традицию, начинают рассматриваться как полярная противоположность органической языковой системе, т. е. как явление вполне искусственное и несистемное, не допускающее никакого органического (системного) развития. Их освоение оказывается сопоставимым с освоением иностранного языка; этим подчеркивается роль формального обучения, кодифицирующих данный язык пособий, нормативных аспектов языковой деятельности. При подобных теоретических основаниях языковая ситуация сосуществования разговорного языка с книжным языком, существенно от него отличающимся, начинает естественным образом рассматриваться как своего рода двуязычие. Именно данная модель — модель двуязычия — прилагалась славистами для описания языковой ситуации древней Руси; такая трактовка мотивировалась в данном случае еще и тем, что книжный язык восточных славян (церковнославянский) в первоначальном виде сформировался у славян южных, т. е. мог рассматриваться как в генетическом плане «иностраннный» язык.

Именно таким образом рассматривали соотношение церковнославянского и восточнославянского А. А. Шахматов и С. П. Обнорский. А. А. Шахматов трактовал языковую ситуацию древней Руси как церковнославяно-русское двуязычие и, подчеркивая интересовавший его генетический аспект, называл церковнославянский язык «древнеболгарским». Он полагал при этом, что церковнославянский был быстро освоен культурной элитой Киевской Руси, стал употребляться как разговорный язык этой элиты (Шахматов 1941, 256) и в силу этого употребления постепенно русифицировался. Таким образом, отношения восточнославянского и церковнославянского в Киевской Руси строятся в понимании Шахматова по модели двуязычия: по образцу французского и англосаксонского в Англии после прихода к власти Вильгельма Завоевателя или — что, может быть, ближе — по образцу латыни и французского в средневековой Франции. Церковнославянский, все более русифицировавшийся, обслуживал сферу культуры и был, как полагал Шахматов, русским литературным языком средневековой Руси. В. В. Виноградов, следовавший Шахматову, так и писал: «Русским литературным языком средневековья был язык церковнославянский» (Виноградов 1938, 5).

С. П. Обнорский, возражая Шахматову, резонно замечал, что ряд текстов, возникших в Киевской Руси (прежде всего Русская Правда), никак не могут трактоваться как церковнославянские, пусть даже и существенно русифицированные. Если языком культурной элиты был русифицированный церковнославянский, такие тексты появляться не могли. Обнорский полагал при этом, что русский лите-

ратурный язык пошел от этих текстов, а наличие в нем многочисленных «славянизмов» объяснял тем, что в течение столетий он постепенно славянизировался (Обнорский 1960, 142—144). Несмотря на то, что эта концепция была полемически противопоставлена точке зрения Шахматова, моделью интерпретации оставалось по-прежнему «младограмматическое» двуязычие, хотя и с иным функциональным распределением языков, чем то, которое постулировал Шахматов. Образцом могла быть, например, ситуация латинско-немецкого средневекового двуязычия. Церковнославянские тексты (Св. Писания, богослужения и т. д.) были для Обнорского текстами на «иностранном» языке (как латинские тексты в средневековой Германии), а наряду с ними существовали русские тексты, постепенно расширявшие сферу своего функционирования и вместе с тем усваивавшие черты «иностранного» языка, употреблявшегося в качестве основного языка культуры в том же языковом коллективе.

Обе эти концепции плохо согласуются с теми свидетельствами об употреблении языка (языков) и языковом сознании, которыми мы располагаем для эпохи Киевской Руси. Они базируются на положениях, которые невозможно доказать и которые не кажутся правдоподобными (например, о том, что в Киевской Руси культурная элита начала разговаривать на церковнославянском). Они не находят подтверждения в фактах, которые мы ожидали бы обнаружить при двуязычии при любом функциональном распределении языков (прежде всего существование переводов с одного языка на другой). И они плохо объясняют тот характер лингвистической разнородности, который мы наблюдаем в дошедших до нас письменных памятниках. Церковнославянскому у восточных славян не был присущ характер ученого мертвого языка; он не изучался ученым образом и не был языком, на котором ученые или клирики общались между собой. Что еще существеннее, церковнославянский у восточных славян эволюционировал, в какой-то мере отражая в своей эволюции развитие живых языков восточных славян, что, вообще говоря, с мертвыми языками не случается. Сверх того, насколько мы можем судить по дошедшим до нас свидетельствам, церковнославянский не воспринимался как «чужой» иностранный язык (и не изучался, как иностранный язык), так что модели средневекового двуязычия для описания восточнославянского узуса оказываются малопригодными.

Тем более показательна связь младограмматического подхода, которого придерживались оба лингвиста, с использованием модели двуязычия. Хотя структурализм провозглашал радикальный разрыв с младограмматиками, фундаментальное представление о языке как метафизическом органоне, абстрагированном от пользователей языка, никогда ими не пересматривалось, и поэтому ни младограмматики, ни структуралисты не задавались вопросом о том, как в сознании носителя могут в полной независимости друг от друга существовать две языковые системы, наполненные в большей части тождественным языковым материалом. Для ортодоксального структурализма проблема тождества даже не вставала, поскольку элементы языковой системы определялись их отношением ко всем другим элементам той же системы, и материальное сходство русского и церковнославянского **стола** оказывалось столь же эфемерно, как сходство цел. **тоуѣкъ** и англ. *took*. Обращение к языковому сознанию, полностью игнорировавшемуся Шахматовым, Обнорским и их последователями, впервые намечается в концеп-

ции церковнославянско-русской диглоссии, однако в этой концепции языковое сознание втискивается в структуралистскую парадигму и приобретает ту же отвлеченную метафизичность, что и понятие языковой системы.

Концепция церковнославянско-русской диглоссии была предложена рядом исследователей в качестве модели более адекватной, чем двуязычие (Хютль-Фольтер 1978; Исаченко 1980; Успенский 1983). В рамках этой концепции для восточнославянской территории эпохи средневековья реконструируется социолингвистическая ситуация, аналогичная той, которую Чарльз Фергусон (Фергусон 1959) постулировал для нескольких языковых коллективов нового времени (например, арабского мира). Эта ситуация предполагает сосуществование двух языков, находящихся в функциональном взаимодополнительном распределении. Сходное распределение приписывалось книжному и разговорному языкам восточных славян, так что дихотомия двух языков сохранялась, но менялись ее функциональные параметры. Б. А. Успенский, обращаясь к языковому сознанию, определяет их следующим образом: «[В] языковом сознании при диглоссии книжный и некнижный языки воспринимаются как один язык — книжный язык выступает в этих условиях как кодифицированная и нормированная разновидность языка. Между тем, для внешнего наблюдателя (включая сюда и исследователя-лингвиста) естественно в этой ситуации видеть два разных языка. Таким образом, если считать вообще известным, что такое разные языки, диглоссию можно определить как такую языковую ситуацию, когда два разных языка воспринимаются (в языковом коллективе) и функционируют как один язык» (Успенский 1987, 15). Стоит заметить, что языковое сознание коллектива носителей появляется здесь как своего рода этнографическая аномалия, противоречащая «объективному» взгляду исследователя-лингвиста, со структуралистской последовательностью ищущего и находящего (потому что что ищешь, то и найдешь) оппозицию двух систем.

Что касается формальных примет, отличающих диглоссию от двуязычия, Успенский сводит их к всего трем признакам негативного характера: «1) недопустимость применения книжного (литературного) языка как средства разговорного общения; 2) отсутствие кодификации разговорного языка, отсутствие специального обучения этому языку; 3) отсутствие параллельных текстов с одним и тем же содержанием» (Успенский 1987, 17). Одновременно Успенский указывает и основное отличие, противопоставляющее ситуацию диглоссии той ситуации, в которой сосуществуют литературный язык и диалект. Это отличие состоит в том, что «при диглоссии ни один социум не пользуется книжным (литературным) языком как средством разговорного общения» (там же, 17—18). Как можно видеть, основным признаком книжного языка оказывается его противопоставленность языку разговорному, реализующаяся в его кодифицированности, нормированности и существовании специального обучения этому языку¹.

¹ Это соответствует тому общему определению литературного языка, которое дает Б. А. Успенский: «Литературный язык связан именно с искусственной (вторичной) нормой, усваиваемой в процессе формального (максимально кодифицированного) обучения и реализующейся в авторитетной для данного общества письменности — литературе» (Успенский 1987, 7).

Противопоставленность разговорному языку представляет собой, однако, общую характеристику языкового стандарта, проявляющуюся отнюдь не только в ситуации диглоссии. Как показали работы последних десятилетий, посвященные специфике русской разговорной речи (Земская 1973; Лаптева 1976), в ней реализуется иной регистр русского языка, нежели в письменных литературных текстах. Это означает, что и в современной русской языковой ситуации, которая может быть определена как сочетание литературного языка и языка разговорного в его социальном и диалектном варьировании, литературный язык, как правило, не служит средством разговорного общения (что порой побуждает исследователей и эту ситуацию квалифицировать как диглоссию — Земская, Китайгородская, Ширяев 1981, 21—22). Правда, в современной ситуации устное употребление литературного языка возможно, а в ряде формальных ситуаций оно является даже нормативным (там же, 58—70). Однако правомерно ли апеллировать к этой частной (в определенной степени периферийной) сфере языковой деятельности, проводя различие между двумя языковыми ситуациями? Так ли велико различие? Не сводится ли оно к чисто социальному параметру — увеличению спектра культурно значимых ситуаций, требующих формальной речи? В конце концов и в древней Руси в определенных случаях устное употребление церковнославянского не исключалось — например, при произнесении проповеди. Современное употребление литературного языка в публичных выступлениях (политическая речь, лекция и т. п.) мы можем рассматривать как экспансию того социального узуса, который в средние века был представлен церковным ораторством. Отсюда следует, что отличие, согласно Успенскому, состоит лишь в том, что в современных условиях возможно употребление литературного языка в бытовом общении, тогда как в древней Руси церковнославянский в этой функции употребляться не мог. Однако употребление литературного языка в бытовом общении представляет собой скорее отступление от социальных конвенций, и трактовать подобное отступление как основу принципиального различия вряд ли оправдано. Особые отношения церковнославянского и восточнославянских диалектов устанавливаются только в том случае, если мы а priori утверждаем, что эти идиомы представляют собой два разных языка.

Такое утверждение, однако, отнюдь не является бесспорным. Как известно, Н. С. Трубецкой и Н. Н. Дурново (Дурново 1931; Дурново 2000, 624—637) считали, что последним общеславянским изменением было падение редуцированных и до завершения этого процесса сохранялось общеславянское языковое единство. Если следовать этой концепции, до XII в. включительно восточнославянские говоры являются диалектами общеславянского языка. В таком случае и с внешней точки зрения, к которой апеллирует Успенский, церковнославянский и восточнославянские говоры до XII в. не представляют собой разных языков, а могут рассматриваться как книжный язык, основанный на одном из южнославянских диалектов, и диалекты другого ареала внутри единого общеславянского языка. Именно такого взгляда придерживается Г. Лант. Он утверждает, что «the dialects of Bulgaria and Rus' were obviously different but linguistically very close. The southern dialect features were no hindrance to easy communication, and some of the most striking ones were quite acceptable to the East Slavs for purposes of writing. Samenesses at every structural level — phonological, morphological, syntactic, lexi-

cal — overwhelmingly outnumber differences. *OSC and early Rusian were variant forms of a single language*. To assume that they were two languages is anachronistic, for it projects later differences back into the eleventh century» (Лант 1988—89, 285—286. — курсив Ланта).

Определение церковнославянского и восточнославянского как двух диалектов одного языка принципиально мало что меняет. С точки зрения ортодоксального структурализма два диалекта ничем по существу не отличаются от двух языков: это две разных языковых системы, все элементы каждой из которых взаимозависимы и поэтому с элементами другой системы не соотносятся. Представление о едином языке, объединяющем диалекты, попадает в структуралистскую парадигму воровским образом, через не предусмотренный планировщиками черный ход. Диалектные различия понимаются при этом как своего рода сменные части, приспособленные к единому механизму. На место южнославянского *мѣѣко* пришеивается восточнославянское *молоко*, но это как бы не влияет на движение поршней и шестеренок языкового механизма. Лант как раз и имеет в виду весьма ограниченный набор сменных частей, которые нужно переставить при переходе от церковнославянского (южнославянского) к восточнославянскому, их число, согласно Ланту, намного меньше тех элементов, которые можно не переставлять.

Проблема, однако, отнюдь не в сходствах, которые перевешивают различия на любом из структурных уровней (at every structural level). Такое утверждение имеет смысл только для фонетики и морфологии. Здесь, действительно, можно дать перечень различий, или, если угодно, диалектных (фонетических и морфологических) вариантов. Именно это Лант и делает (Лант 1988—89, 302—304), и в этой части оригинальность точки зрения Ланта состоит лишь в оценке этих различий как минимальных, упаковывающихся в короб единого языкового механизма. Практически тот же самый список приводит Шахматов, говоря о признаках церковнославянизмов в современном русском литературном языке (Шахматов и Шевелов 1960), и Успенский, рассматривая отличия русского церковнославянского от старославянского, с одной стороны, и церковнославянского от «русского» — с другой (Успенский 1987, 84—143). Такая трактовка в принципе позволяет рассматривать «смешанные» тексты не как результат интерференции двух систем (не как тексты с вторгшимися в них «русизмами» или «славянизмами»), а как тексты, обнаруживающие вариативность, и это, конечно же, существенный шаг вперед.

Препятствуют ли эти различия коммуникации или они настолько минимальны, что носители языка легко могут их игнорировать, судить вряд ли возможно, поскольку совершенно неясным остается, о какой коммуникации идет речь. Южные славяне точно так же не говорили на церковнославянском (старославянском), как и славяне восточные, поэтому под коммуникацией, в которой использовались рассматриваемые идиомы, никак нельзя понимать устное общение (тем более устное бытовое общение). Речь может идти лишь о коммуникации письменной, о распространении письменных текстов, созданных в одном славянском регионе (например, у южных славян), за пределами этого ареала (например, у славян восточных)². Эффективность (возможности понимания) такого рода ком-

² Мы располагаем, правда, одним сообщением в хронике Скилицы-Кедрина о том, что в 970 г. русские, сражавшиеся вместе с византийцами и болгарам, «выстраивались вме-

муникации лишь в малой степени зависит от тех или иных особенностей фонетики и морфологии.

В самом деле, сосредоточивая внимание на формальных (фонетических и морфологических) различиях, исследователи по существу продолжают младограмматическую традицию и работают с теми самыми сравнительно-историческими соответствиями, которые устанавливались для реконструкции праязыка. Понятно, что со сменой задач меняется и интерпретация этих соответствий, они в той или иной степени (разной в разных построениях) приобретают функциональный характер (ср.: Живов 1988), однако самый состав признаков в значительной мере сохраняется и получает никак не оправданную доминирующую роль в определении языковой ситуации. Стоит отметить, что признаки фонетического и морфологического уровня легко могут быть представлены как бинарные, и эта бинарность описательного инструмента переносится затем на наблюдаемые разновидности письменного языка восточнославянского средневековья.

Вместе с тем совершенно очевидно, что отнюдь не менее важные синтаксический и лексический уровни обнаруживают иной тип функциональных отношений. Например, такие синтаксические конструкции, как дательный самостоятельный, *accusativus cum infinitivo*, **яко** с инфинитивом в значении следствия, аналитические обороты с причастиями типа **бѣ Иванъ кръстьѣ** или **градъ кѣтъ ѿстоѣ** и т. п. отсутствуют в разговорном языке как южных, так и восточных славян, что, конечно, не противоречит сходству южнославянского и восточнославянского на синтаксическом уровне, отмечаемому Лантом, однако сдвигает проблему в иную плоскость. Такие конструкции являются специфичными для книжного языка вне зависимости от того, в каком славянском ареале он функционирует, и возможности понимания этого языка определяются восприятием подобных конструкций никак не в меньшей степени, чем, скажем, полногласием или неполногласием отдельной основы.

Точно так же обстоит дело и с лексикой. Понятность слов типа **ѣдиносѣцьнѣ** или **бытъиѣ** лишь в малой мере определяется тем, произносится ли в них /e/ или /je/, /q/ или /u/, /št/ или /šč/. Абстрактная и религиозная лексика, чрезвычайно важная для лексического облика книжных текстов, ни к какому диалекту специально не привязана, однако имеет самое непосредственное отношение к восприятию книжного языка в любой из его разновидностей. Условия и параметры функционирования книжного языка не могут быть поняты без учета этих его фундаментальных характеристик. Усвоение, восприятие и воспроизведение соответствующих элементов являются важнейшими показателями его функционирования в языковом коллективе. Социальные параметры владения этими языковы-

сте с болгарями как говорящие на едином славянском языке» (Скилица-Кедрин, II, 386). С одной стороны, вовсе непонятно, сколько нужно было языкового единства для понимания простых военных команд. С другой стороны, совершенно очевидно, что коммуникативные задачи военных союзников не имеют никакого сходства с теми, которые стояли перед славянскими книжниками, читавшими и воспроизводившими тексты, пришедшие из других славянских областей. Различие коммуникативных ситуаций настолько в этом случае велико, что нет возможности переносить какие-либо заключения, относящиеся к одной из них, на другую.

ми средствами, тематический (историко-культурный) диапазон их применения, членение пространства письменности по параметрам данного типа представляют едва ли не наиболее значимые аспекты языковой ситуации. Существующие же ее модели, кратко рассмотренные выше, эти аспекты в значительной степени игнорируют, и можно думать, что такое положение вещей связано в конечном счете с представлением о письменном языке как о явлении неорганическом и вторичном³.

2. Норма и вариативность в письменном языке. Значение синтаксических параметров

Выше уже говорилось о том, что, рассматривая книжный язык как вторичное искусственное образование, исследователи подчеркивают его кодифицированный и нормированный характер, отличающий его от языка разговорного. Принципиально различным оказывается и характер овладения книжным и разговорным языком. Б. А. Успенский, соотнося разговорный язык с первичной, «естественной» нормой, а книжный (литературный) язык с «вторичной», «искусственной» нормой, замечает: «Первичная норма усваивается в раннем возрасте в процессе естественного обучения (...) Напротив, вторичная норма усваивается в сознательном возрасте в процессе более или менее специального и искусственного (для литературного языка — формального) обучения» (Успенский 1987, 6). Такая точка зрения нуждается в существенных оговорках, касающихся как объема элементов, усваиваемых при формальном обучении, так и различия в механизмах усвоения «первичной» и «вторичной» нормы.

Как в свое время справедливо указал Д. Ворт (Ворт 1978, 375), вплоть до XVI в. у восточных славян отсутствовала кодификация церковнославянского языка. Никаких грамматик книжного языка не существовало, не было и словарей, если не считать, скажем, «Толкование неудобь познаваемомъ рѣчмъ» (Ковтун 1963, 216 сл.), которое, однако же, никак не может интерпретироваться в качестве кодификации книжной лексики. Иногда говорится, правда, что кодификация церковнославянского в ранний период осуществлялась посредством текстов, однако само понятие кодификации становится в подобном случае мало что дающей метафорой, которая лишь затушевывает несхожесть книжных языков средневековья со стандартными (литературными) языками нового времени⁴.

³ Эта связь просматривается прежде всего в выборе фонетических и морфологических признаков и невнимании к синтаксическим и лексическим параметрам. Из сферы исследовательских интересов выпадают книжный синтаксис и абстрактная лексика, т. е. те явления, которые были заведомо нерелевантны для сравнительно-исторического изучения в силу своего «неорганического» происхождения (калькирования, искусственного словопроизводства и т. д.).

⁴ Я имею в виду определение литературных языков нового времени в русле пражских традиций. Как уже говорилось, литературные языки нового типа характеризуются полифункциональностью, общезначимостью, кодифицированностью и дифференциацией стилистических средств. В них реализуется государственная монополия на власть (ср.: Живов 1996, 13—16), так что сами они представляют собой, согласно определению Пражских тезисов, «le monopole et la marque caractéristique de la classe dominante» (Вахек 1964, 45).

С нормализацией дело обстоит иначе. Вне зависимости от того, насколько последовательно проводилась нормализация в тех или иных текстах (Д. Ворт, указывая на невыраженность нормы в ряде книжных текстов, подвергал сомнению само существование книжной нормы — Ворт 1978), она несомненно имела место. Об этом однозначно свидетельствуют многочисленные исправления в дошедших до нас рукописях: если рукопись правится, это значит, что писец заменяет неправильные с его точки зрения элементы на правильные, т. е. обладает представлением о норме и проводит эти представления в своей языковой практике. Лингвистические исправления являются постоянным элементом книжного дела в древней Руси, во многих случаях они осуществляются достаточно последовательно, так что нормализация — это обычный, а не исключительный феномен языковой установки восточнославянских книжников⁵. Нормализаторские интенции книжников можно наблюдать в рукописях разного типа, в частности при сопоставлении ряда летописных списков, например, Новгородской первой летописи старшего извода по Синодальному списку и Комиссионного списка той же летописи младшего извода или Лаврентьевской летописи в сопоставлении с Академическим списком: при обоих сопоставлениях очевидно, что составители позднейших летописных сводов, воспроизводя текст своих предшественников, подвергали его довольно последовательной нормализующей правке.

Существенны, однако, два момента, отличающие нормализацию, наблюдаемую в восточнославянских средневековых текстах, от того феномена нормативности, который привычен для нас и связан с нашим опытом пользования литературными языками нового типа. Прежде всего нормализация не исключает вариативности в той степени, как это характерно для новых литературных языков. Это выражается, во-первых, в том, что не всякая вариативность устраняется, во-вторых, в том, что устранение, когда оно имеет место, отнюдь не всегда бывает последовательным, в-третьих, в том, что средневековые книжники часто стремились не к тому, чтобы устранить вариативность, а к тому, чтобы приписать ей определенное функциональное задание, которое, однако же, никогда не распространялось на все употребления вариантов, т. е. сохраняло область немотивированной вариативности, и, наконец, в-четвертых, в том, что степень нормированности в разных текстах колеблется в существенно большем диапазоне, чем в современных литературных языках (поскольку норма не является полифункциональной).

Так, например, в новгородских памятниках разного типа (церковнославянских текстах, переписанных в Новгороде, житиях и летописях, написанных в Новгороде, официальных документах новгородских властей) практически без исклю-

⁵ В качестве хорошей иллюстрации можно указать на Троицкий сборник конца XII — начала XIII в. (РГБ, Собр. Тр.-Серг. Лавры 12 — см. изд.: Поповски, Томсон, Федер 1988). Этот сборник содержит в перегруппированном виде Пандекты Антиоха. Как установил Н. Поповски (Поповски 1987; Поповски 1989, 120—134), Пандекты Антиоха в Троицком сборнике скопированы непосредственно со старейшей рукописи Пандектов — ГИМ, Воскр. 30 XI в. (см. изд.: Поповски 1989а), так что соответствующие рукописи представляют собой древнейшую в славянской письменности пару антиграф-апограф. Троицкий сборник написан несколькими писцами, орфография которых различается по ряду параметров. Все они тем не менее приводят правописание копировавшейся ими рукописи XI в. в соответствие с орфографическими нормами своего времени (ср.: Живов 1996а, 189—191).

чений устраняется окончание *-е* в им. ед. *о*-основ. Оно подвергается правке, когда переписчик по недосмотру употребляет соответствующую форму в Минее 1095 г., оно появляется в наиболее раннем списке Вопросания Кирика и устраняется из позднейших списков⁶, оно отсутствует в дошедших до нас списках новгородских договорных грамот, но при этом широко представлено в бытовой письменности древнего Новгорода (Зализняк 1995, 128—130). Очевидно, что книжники избегают данного окончания в силу вполне осознаваемой нормализаторской интенции, вариативность в данном случае практически отсутствует. Если, однако, мы обратимся к формам род. ед. существительных мягкой разновидности *а*-склонения, картина будет совсем иной: наряду с окончанием *-а* во многих памятниках будет фигурировать окончание *-ѣ* (формы типа **вогородницѣ** — **вогородницѣ**), и никакой выраженной интенции устранить эту вариативность не обнаружится. Параметры этой вариативности оказываются различными в текстах разного типа (ср.: Левин 1984), однако сама эта вариация лежит в пределах нормы письменного языка. Таким образом, устранение вариативности в письменности средневековой Руси имеет избирательный характер, делающий саму норму письменного языка не похожей на нормы современных литературных языков.

Аналогичным образом обстоит дело и с проведением нормативных установок, оно лишь в редких случаях бывает последовательным (преимущественно там, где речь идет о фонетических, а не о собственно морфологических вариантах), т. е. лишь в редких случаях элиминирует вариативность по нормируемому показателю. Так, рассматривая процесс *а*-экспансии во флексиях мн. числа существительных м. рода *о*-склонения (см. ниже, § III.1.3), мы обнаруживаем, что в XVII в. в стандартных церковнославянских текстах и в текстах деловых наибольшее число новых флексий фиксируется в тв. мн. Эта конфигурация статистических параметров естественно объясняется как результат нормализаторской установки: употребление тв. мн. на *-ами* получает преимущество (в сравнении с *-ахъ* в местн. мн. и *-амъ* в дат. мн.), поскольку оно устраняет омонимию им.-вин. мн. и тв. мн. Эта нормализаторская интенция, однако, последовательно не осуществляется. Казалось бы, писец мог употреблять новое окончание во всех случаях, избавившись тем самым от неудобной ему омонимии раз и навсегда. Он, однако же, довольствуется частичными результатами, демонстрирующими его интенции и тем самым свидетельствующими о высоком статусе создаваемого им текста. Привив тексту элемент нормативности, он считает свою задачу выполненной и не обращает внимания на недоделанную работу. Этот же подход можно заметить, сравнивая текст ряда житий (например, жития Михаила Клопского — см.: Дмитриев 1958) в первоначальной редакции с книжной редакцией, сделанной в Москве в начале XVI в.; тенденция редактуры очевидна: выбираются более

⁶ В новгородской Минее 1095 г. (РГАДА, ф. 381, № 84) имеется единичный пример такого исправления, не отмеченный в не отличающемся тщательностью издании В. Ягича: на л. 32 об., строка 1, в **вндѣлъ еси ѿ** исправлен из **ѣ**. В Вопросании Кирика по списку Новгородской кормчей 1280-х годов читаем: **прашахъ кго: гдѣ ксть крѣтъ чѣны? — тако поведаютъ, ре, намъ: тако не дошле цѣрагра^а, кгда обрѣтене възнеслѣ на небѣа** (ГИМ, Син. № 132, л. 523). В позднейших списках формы **дошле** и **обрѣтене** заменяются на **дошелъ** и **обрѣтенъ** (РИБ, VI, стб. 32).

книжные или более «архаические» морфологические варианты (скажем, *-ѣй* вместо *-ой* в дат.-местн. ед. в склонении прилагательных ж. рода); тем не менее нормализация реализуется лишь как тенденция, оставляя нетронутой определенную часть менее книжных или «новых» флексий. Во всех этих случаях речь явно не идет о простом недосмотре, полная последовательность в проведении нормативных предпочтений просто не входит в намерения пишущего⁷.

С этой умеренностью в осуществлении нормализационных интенций хорошо согласуется и другой момент языкового поведения средневековых книжников. Как уже отмечалось, носитель языка, располагая морфологическими вариантами, нередко стремится дать им разную семантическую нагрузку. Это особенно характерно для письменного языка, поскольку коммуникативная ситуация письма располагает к сознательным преобразованиям узуса. Дифференцирующие преобразования этого рода представлены и в восточнославянской средневековой письменности. К одному из таких примеров, исследованных А. Тимберлейком, мы обратимся ниже. Речь идет о формах имперфекта 3 лица с аугментом *-тъ* и без него (варианты типа *идашеть* — *идаше*, *идахѣтъ* — *идахѣ*). Как обнаружил Тимберлейк (Тимберлейк 1997; Тимберлейк 1998), в ряде памятников (в частности, в Лаврентьевской летописи и в Слове о полку Игореве) аугмент употребляется не произвольно, как полагали ранее, а в определенных контекстах, различных в разные периоды (новые контексты возникают в результате переосмысления — см. ниже). В частности, имперфект с аугментом может употребляться в предложениях, содержащих частицы *бо* и *же*, когда эти предложения имеют модальное значение. Приводимые Тимберлейком статистические данные вполне убедительны, т. е. они показывают несомненную корреляцию между указанным контекстом и употреблением аугмента, но корреляция эта тем не менее не носит обязательного характера. Таким образом, книжник стремился к функциональной дифференциации морфологических вариантов, но довольствовался при этом ее неполной реализацией, оставляя часть вариантов недифференцированными, т. е. сохраняя область чистой вариативности⁸.

⁷ Такая непоследовательная нормализация свойственна еще начальному этапу формирования русского литературного языка нового типа. Нормализационные замены морфологических вариантов можно наблюдать в той правке, которую Софроний Лихуд вносит в текст «Географии генеральной» (заменяя, например, *-ой* на *-ый* в им. ед. прилагательных м. рода или *-ая* на *-ья* в им.-вин. мн. прилагательных ср. рода) (см.: Живов 1986а, 257; ср. § IV.2.1). Нигде, однако, он не проводит эти замены последовательно. Такой характер нормализации сохраняется вплоть до конца 1720-х годов.

В принципе так обстоит дело не только с морфологическими вариантами. Так, скажем, в результате так называемого второго южнославянского влияния в стандартных церковнославянских текстах *ж* в рефlekсах **dj* заменяется на *жд* (см.: Ворт 1983а, 359—360; Успенский 1987, 208—209). Обычно эта инновация рассматривается как последовательно проведенная справа. Однако в богослужебных рукописях XVI—XVII вв. написания с *ж* в рефlekсах **dj* обнаруживаются не столь уж редко, и эти отступления от нормы свидетельствуют о характере нормативности, а не о небрежности переписчиков.

⁸ Казалось бы, такую ситуацию можно сравнить с употреблением, например, второго родительного в современном русском языке, поскольку и здесь семантическая дифференциация совмещается с вариативностью. Сопоставление, однако, показывает, что ситуации

В современном русском литературном языке (как и в других современных литературных языках) норма общезначима и полифункциональна. Это означает, что одни и те же нормы — по крайней мере, орфографические и морфологические — выдерживаются вне зависимости от статуса текста; членение пространства письменности в отношении нормы бинарно: тексты бывают либо грамотными, либо безграмотными. Из этого не следует, конечно, что все грамотные тексты обладают одним и тем же статусом, однако статус выражается не за счет степени нормативности текста, а за счет стилистической дифференциации употребленного в нем языкового материала. Понятно, что границы между ненормативным и стилистически отмеченным в лексике, а отчасти и в синтаксисе не всегда достаточно отчетливы, понятие стилистической погрешности как раз и располагается в переходной области между отступлением от нормы и допустимым, но стилистически маркированным элементом (к историческим основаниям этой ситуации мы еще обратимся ниже). Однако на уровне орфографии и морфологии никаких стилистических погрешностей не существует, границы здесь вполне однозначны.

В средневековой восточнославянской письменности дело обстоит принципиально иным образом. Узус, свойственный текстам разного типа, различен, и один из существенных моментов, характеризующих узус данного типа текстов, — это присущая ему степень нормативности. Для текстов XVI—XVII вв., наиболее важных для настоящего исследования, вообще нет возможности говорить о единой норме: норма стандартных церковнославянских текстов по многим орфографическим и морфологическим признакам противопоставлена норме текстов деловых (о становлении этого противопоставления см. ниже). Таким образом, в русской средневековой письменности, с одной стороны, отсутствует единая норма, а с другой — в разных текстах обнаруживается разная степень нормативности. Что касается текстов книжных, разная выдержанность нормы первоначально развилась в них, видимо, в силу прагматических причин. Унификация была в наибольшей мере существенна для богослужебных текстов, поскольку она была призвана обеспечить правильность и унифицированность церковного благочестия. Соответственно и языковая норма выдерживалась здесь наиболее строго, и поддержание этой нормы — в силу того, что тексты эти были хорошо известны писцам, — не сталкивалось с теми трудностями, которые возникали при воспроизведении сложных и не вполне понятных для писцов текстов⁹. Так появлялись

по существу различны. Вариативность в современном русском языке возникает не в силу того, что дифференциация распространяется лишь на часть употреблений, а в силу того, что специфическое значение второго родительного (партитив) факультативно: говорящий может этим специфическим значением пренебречь, и тогда у него не возникает нужды во втором родительном.

⁹ Как отмечает Н. Н. Дурново, «[р]азное отношение писцов к правописанию их непосредственных оригиналов и вызванные этим либо близость правописания писанных ими рукописей к правописанию оригинала, либо его относительная независимость стояли в связи как с индивидуальными способностями и грамотностью писцов, так и с характером списываемого текста. Писцу не приходилось следить буква за буквой за написаниями оригинала при переписке хорошо знакомых ему текстов, например, Евангелия; наоборот, при списывании малопонятного богословского трактата, где переписчику были неясны самые слова и их грамматическая зависимость, трудно было писцу ру-

исходные различия в узусе книжных текстов с разными прагматическими функциями; эти исходные различия переосмыслились затем как традиция, соотносящая степень нормативности с характером коммуникативного задания. Понятно, например, что местные жития, а тем более летописи, предназначавшиеся для келейного чтения (или вообще для внемонастырского употребления), вписывались в ту письменную традицию, которая не требовала строгого соблюдения церковнославянской нормы. При развитии этой традиции допустимые отклонения накапливались и формировали особый преемственно воспроизводимый узус, который мы определяем как гибридный регистр книжного языка (см. ниже). Поскольку вольное обращение с нормой было конститутивным элементом данной традиции, вариативность была ее постоянным свойством, лишь нараставшим по мере ее (традиции) развития.

Итак, специфика нормативности в письменном узусе восточнославянского средневековья обуславливает совместимость нормативных установок и вариативного употребления, создавая условия для развития орфографической и морфологической вариативности. Параметры этой вариативности, как уже говорилось, определяются преемственностью, действующей в рамках отдельных регистров. Регистры, в свою очередь, соотносятся с типами коммуникативных заданий, которые определяют риторическую стратегию пишущего. Связь коммуникативного задания с риторической стратегией универсальна, но в условиях славянского средневекового узуса она приобретает специфические черты, которые заслуживают особого внимания. Эти черты обусловлены еще одной важной характеристикой средневековой нормативности, отличающей ее от нормативности привычных для нас литературных языков нового типа.

Эта особая характеристика состоит в том, что нормализация распространяется не на все уровни языка. На синтаксическом и лексическом уровне нормативная установка практически никакого выражения не находит. В силу этого синтаксическое построение текста и наполняющий его лексический материал оказываются куда более непосредственно связанными с коммуникативной установкой текста, чем в современных литературных языках с их нормативным синтаксисом и словарем. Сама по себе коммуникативная обусловленность синтаксиса и лексики относится, как уже говорилось, к фундаментальным основам функционирования языка. Однако в современных литературных языках зависимость синтаксиса и лексики от коммуникативного задания проявляется в таких параметрах, как сложность синтаксического построения (распространенность периода), разнообразие лексических средств и т. п. Возможности выбора, однако, ограничены рамками нормы, т. е. тем синтаксисом, которому обучают в школе, и — в общем и целом — той (стилистически дифференцированной) лексикой, которая зафиксирована в нормативных словарях. В средневековой восточнославянской практике обучение ни в каком виде на синтаксис и лексику не распространялось, поэтому, как мы увидим ниже, синтаксическая и лексическая неоднородность узуса была

ководиться своим знанием книжного языка и правописания и приходилось ближе держаться к написанию оригинала (...) Всего менее приходится искать следов правописания непосредственных оригиналов в напрестольных Евангелиях» (Дурново 1933, 46—47; Дурново 2000, 645—646).

существенно большей. Она затрагивала, в частности, самые принципы синтаксического построения как способа организации сообщаемой информации.

Об отсутствии нормативных установок в синтаксисе и лексике свидетельствуют исправления, встречающиеся в рукописях. Они затрагивают по преимуществу фонетику (поскольку она отражается в правописании) и морфологию. На этих уровнях, как мы только что видели, нормализация может быть достаточно систематической. Исправления лексические и синтаксические, напротив, практически всегда окказиональны. Конечно, они не лишены направленности, и при статистическом анализе можно обнаружить определенные закономерности в динамике узуса. Так, скажем, при рассмотрении более ранних и более поздних списков летописей заметно, как беспредложный дательный при глаголах движения в инклюзивном значении постепенно замещался конструкциями с предлогом *къ* + дат. падеж; пропорция предложных конструкций нарастает от более ранних частей летописи к более поздним, от списков XIV в. к спискам XV в. Тем не менее последовательно эти замены не проводятся, так что, например, в Ипатьевской летописи обнаруживается ряд случаев предложных конструкций, которым в Лаврентьевской соответствует беспредложная, наряду с этим, однако, имеются и случаи, когда беспредложным конструкциям Ипатьевской летописи соответствуют предложные конструкции в Лаврентьевской (Пичхадзе 1996). Ясно, что ни в текстологической истории Лаврентьевской, ни в текстологической истории Ипатьевской сплошной замены соответствующей конструкции не наблюдалось, т. е. замены всегда имели окказиональный характер и лишь с течением времени давали кумулятивный эффект.

Сходным образом обстоит дело и с заменами лексическими. В недавнее время А. М. Молдованом была предпринята попытка дать типологию лексических замен в восточнославянских памятниках. Он выделил шесть типов таких замен: (1) слово, которое начинает восприниматься как некнижное, заменяется на «литературный» эквивалент; (2) старославянские архаизмы вытесняются словами, находящимися в актуальном книжном употреблении; (3) регионализмы заменяются словами общеупотребительными; (4) экспрессивная лексика уступает место нейтральной; (5) транслитерированное греческое слово заменяется его славянским эквивалентом; (6) слова, обозначающие конкретный предмет, заменяются обозначением класса предметов (Молдован 1994, 73—74; ср.: Молдован 2000, 60—103). Подобные замены, очевидно, не могут быть последовательными и обладать нормативным статусом. Они осуществляются от случая к случаю, и их типология отражает не нормативные установки книжников, а обобщение индивидуальных казусов. Интенции писцов достаточно расплывчаты и основаны не на системе однозначных запретов, а на представлении об уместности, вынесенном из их читательского опыта. Как замечает Г. Лант, «scribal changes tell us only that the copyist felt something was inappropriate — unknown, obscure, archaic, regional, stylistically unsuitable» (Лант 1994, 19)¹⁰.

¹⁰ В цитируемой работе Г. Лант подвергает критике типологию А. Молдована (Лант 1994, 22). Какие принципиальные моменты затрагивает эта критика, остается мне неясным. Кажется, Лант возражает против того, чтобы рассматривать выделенные типы как «laws», однако Молдован таких претензий не заявляет, говоря только о «типах замен».

Отсутствие нормализации на синтаксическом и лексическом уровнях показательно. Оно означает, что при обучении книжному языку данные уровни никак эксплицитно не затрагивались, и это задает существенные ограничения объема формального обучения в древней Руси. Такие ограничения хорошо согласуются с тем немногим, что мы знаем о характере образования у восточных славян в XI—XVI вв. Основой овладения книжным языком было чтение по складам и последующее заучивание наизусть Часослова и Псалтыри (см. подробнее: Живов 1996, 21—23). Правдоподобно, что профессиональные писцы получали еще и дополнительную выучку, однако она ограничивалась не слишком пространством набором орфографических правил, регулировавших книжное правописание, но не задававших никаких норм употребления форм, конструкций или лексических единиц (Живов 1996, 28—29). В этом плане лингвистическое образование в средневековой Руси отличалось от тех процедур овладения классическими языками, которые практиковались в Византии и латинской Европе и предполагали изучение грамматики и анализ текстов образцовых авторов.

Тем в большей степени заслуживает внимания тот факт, что восточнославянские книжники владели книжным языком, т. е. могли создавать новые тексты, не отличавшиеся радикально ни по своим синтаксическим построениям, ни по своему словарю от южнославянских образцов (имею в виду, например, Слово о законе и благодати митрополита Илариона или гомилетические произведения Кирилла Туровского). Это означает, что навыками книжного изложения восточнославянские авторы овладевали не в процессе «формального обучения», но исключительно в процессе чтения. Нет никаких оснований считать этот процесс искусственным, радикально отличающимся по своим лингвистическим механизмам от процесса овладения разговорным языком. Вместе с тем следует отдавать себе отчет, до какой степени те навыки, которые осваивались в данном процессе, отличались от навыков разговорного языка. Порождение книжной речи представляется иным типом языкового поведения (иным способом организации сообщаемой информации) сравнительно с порождением речи разговорной. Здесь явно неправомерно говорить о двух разных языках, однако разные регистры одного языка, соотношенные с разными коммуникативными заданиями, выделяются здесь с полной отчетливостью. Именно синтаксические характеристики, как мы указывали во Введении, лежат в основе дифференциации узуса по регистрам.

Далее Лант утверждает, что для построения данной классификации необходимо знать, «when a word is colloquial, regional, or archaic», а такими знаниями мы не располагаем. И правда, полного знания у нас нет, однако для отдельных лексем установить и доказать их региональный, архаический или маркированный в стилистическом отношении характер вполне возможно, и этих известных случаев достаточно для построения типологии; Лант и сам пользуется теми же категориями, как можно видеть из приведенной цитаты. Содержательнее другое замечание Ланта. Он полагает, что убеждение Молдована, будто его замены «can go only in one direction», основано на иллюзии, однако ни одного опровергающего примера Лант не приводит, ограничиваясь утверждением, что «scribal vagaries are not governed by such neat precepts». Соответственно и общий вывод Ланта сводится к тому, что «each case must be weighed separately» (там же, 20). Это, конечно, неплохой совет, но если автор не может предложить ничего более содержательного, от инвектив лучше воздержаться.

Виктор Маркович Живов

**ОЧЕРКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО ЯЗЫКА XVII—XVIII ВЕКОВ**

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление переплета
С. Жигалкина и Ю. Саевича

Корректор И. Пекунова

Подписано в печать 18.06.2004. Формат 70×100 ¹/₁₆.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. печ. л. 52,89. Тираж 800. Заказ №

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrc@comtv.ru

*

Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».
Тел.: (095) 247-17-57, Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).
Адрес: Zubovskiy b-r, 17, str. 3, k. 6.
(Метро «Парк Культуры», в здании изд-ва «Прогресс».)

Foreign customers may order this publication
by E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru
or by fax: (095) 246-20-20 (for ab. M153).